

Элизабет Вернер

Роковые огни



Элизабет Вернер

Роковые огни

«Public Domain»

1890

Вернер Э.

Роковые огни / Э. Вернер — «Public Domain», 1890

«Однажды серым, туманным осенним утром стая перелетных птиц улетала в теплые края. Как будто прощаясь с родными местами, она еще раз опустилась на вершины соснового леса, затем поднялась высоко в небо, повернула к югу и медленно скрылась в дали, затянутой туманом...»

Содержание

1	5
2	9
3	16
4	18
5	23
6	28
7	34
8	44
Конец ознакомительного фрагмента.	45

Элизабет Вернер

Роковые огни

1

Однажды серым, туманным осенним утром стая перелетных птиц улетала в теплые края. Как будто прощаясь с родными местами, она еще раз опустилась на вершины соснового леса, затем поднялась высоко в небо, повернула к югу и медленно скрылась в дали, затянутой туманом.

За ее полетом мрачно следил мужчина, стоявший вместе с другим господином у окна величественного, похожего на замок здания на опушке леса. Это был высокий коренастый человек с выразительными чертами лица, белокурыми волосами и голубыми глазами; но точно какая-то тень омрачала его лицо, а высокий лоб был изрезан гораздо более глубокими морщинами, чем это обычно бывает у людей его возраста. Он был в мундире, но и без этого, по одной его манере держаться, в нем можно было сразу узнать военного.

– Вот уже и птицы улетают, – сказал он, указывая на вереницу птиц. – Осень наступает и в природе, и в нашей жизни.

– Ну, в твоей еще нет, – возразил его собеседник. – Ты еще только на середине жизненного пути, в самом расцвете сил.

– По годам – да, но мне кажется, что я состарюсь гораздо раньше других. Я частенько чувствую себя совершенно по-осеннему.

Другой господин (в штатском, среднего роста и тщедушный), по-видимому, немного постарше военного, недовольно покачал головой. Рядом с сильной фигурой соседа он казался почти незаметным, но его бледное лицо с резкими чертами выражало холодный расчет и спокойствие, а саркастически сжатые тонкие губы заставляли предполагать, что за его аристократической сдержанностью скрывается и еще кое-что, достойное внимания.

– Ты слишком серьезно относишься к жизни, Фалькенрид, – сказал он с неодобрением в голосе. – И вообще ты странно переменялся в последние годы. Никто из видевших тебя в былые времена молодым, жизнерадостным офицером не узнал бы тебя теперь. И отчего, скажи на милость! Тень, омрачившая когда-то твою жизнь, давно исчезла; ты – солдат и телом, и душой, тебя отмечают при каждом удобном случае, в будущем ты можешь рассчитывать на солидный пост и, что главное, ведь сын остался с тобой.

Фалькенрид ничего не ответил; скрестив руки, он продолжал смотреть вдаль. Его собеседник продолжал:

– За последние годы мальчик стал просто красавцем; я был поражен, когда увидел его. К тому же ты сам говоришь, что у него необыкновенные способности, а в некоторых отношениях он почти гениален.

– Я предпочел бы, чтобы у Гартмута было меньше способностей, зато больше характера, – сказал Фалькенрид почти жестким тоном. – Писать стихи, изучать языки – это ему семечки, но что касается серьезных наук, он оказывается позади всех, а в стратегии буквально ничего не смыслит. Ты не можешь себе представить, Вальмоден, к какой строгости мне постоянно приходится прибегать.

– Боюсь только, что ты немногого добьешься этой строгостью. Разумнее было бы последовать моему совету и отправить его в университет; для военной службы он не годится, ты же сам это видишь.

– Он должен годиться! Это единственно возможное поприще для такой своевольной натуры, которая не признает никаких авторитетов и любую обязанность воспринимает как

притеснение. Университет и студенческая жизнь приведут Гартмута к полной распущенности; сдержать его может только железная дисциплина, которой он волей-неволей должен будет подчиняться на службе.

– Пока – да, но долго ли она будет в состоянии сдерживать его? Не обманывай себя на этот счет. К сожалению, это наследственные задатки, которые можно подавить, но не искоренить. Гартмут и внешне – точный портрет матери: у него ее черты, ее глаза.

– Да, – угрюмо проговорил Фалькенрид, – ее темные, демонические, огненные глаза, которым все покорялось.

– И которые были твоей погубителью, – прибавил Вальмоден. – Как я предостерегал тебя тогда, как уговаривал, но ты ничего знать не хотел; эта страсть охватила тебя, как горячка; я никогда не мог этого понять.

– Верю! Ты, холодный, расчетливый дипломат, тщательно взвешивающий каждый свой шаг, застрахован от таких чар.

– Твой брак с самого начала носил в себе зародыш несчастья. Эта женщина – иностранка, чужой нам крови, дикая, страстная славянская натура, бесхарактерная, лишённая всякого понятия о том, что у нас называется долгом и нравственностью, и ты со своими стойкими принципами, со своим тонко развитым чувством чести... мог ли привести к иному концу подобный брак? И тем не менее, мне кажется, ты все-таки продолжал любить ее до самого развода.

– Нет! Очарование исчезло в первый же год. Я все видел, но меня пугала мысль, что, решившись на развод, я выставлю напоказ свои домашние неурядицы, и я терпел до тех пор, пока у меня уже не оставалось выбора, пока... Но довольно об этом!

Он порывисто отвернулся и снова стал смотреть в окно; в его резко оборвавшейся речи слышалась с трудом сдерживаемая мука.

– Да, нужно было хорошо постараться, чтобы выбить из колеи натуру, подобную твоей, – серьезно заметил Вальмоден. – Но ведь развод освободил тебя от этих цепей, а с ними тебе следовало бы похоронить и воспоминание о них.

– Таких воспоминаний не похоронишь. Они постоянно воскресают в моей памяти, и именно теперь... – тут Фалькенрид вдруг замолчал.

– Именно теперь? Что ты хочешь этим сказать?

– Ничего. Поговорим о чем-нибудь другом. Итак, ты третий день в Бургсдорфе? Ты надолго здесь?

– Недели на две. У меня в распоряжении очень мало времени, и ведь, собственно говоря, я только формально опекун Виллибальда, так как дипломатическая работа заставляет меня жить большей частью за границей. Фактически опека находится в руках сестры, она всем заправляет.

– Регине эта обязанность вполне по плечу, – согласился Фалькенрид. – Она управляется с громадным имением и многочисленными рабочими, как мужчина.

– И командует с утра до вечера, как вахмистр, – добавил Вальмоден. – Я признаю все ее прекрасные качества, но чувствую, как у меня волосы встают дыбом каждый раз, когда заходит речь о моем визите в Бургсдорф, а возвращаюсь я оттуда всегда с расстроенными нервами. Там царит еще первобытный образ жизни. А Виллибальд – настоящий молодой медведь; при этом он, разумеется, олицетворяет собой идеал матери, которая делает все от нее зависящее, чтобы воспитать из него деревенского дворянчика. Тут никакие уговоры не помогают. Да, впрочем, и у него самого для этого есть все задатки.

Разговор был прерван приходом лакея, который подал визитную карточку. Фалькенрид взглянул на нее.

– Адвокат Эгерн? Хорошо, просите!

– У тебя дела? – спросил Вальмоден вставая. – В таком случае я не стану мешать.

– Напротив, я попрошу тебя остаться. Меня заранее предупредили об этом визите, и мне известна его цель: речь идет о...

Он не договорил, потому что дверь открылась, и вошел господин, о котором было доложено. Он был явно удивлен, что застал Фалькенрида не одного, как, вероятно, ожидал, но последний не обратил на это никакого внимания.

– Господин Эгерн – секретарь посольства фон Вальмоден, – представил он их друг другу. Юрист с холодной вежливостью поклонился и занял предложенное место.

– Я уже имел честь встречаться с вами, господин майор, – заговорил он. – Как адвокат вашей супруги в бракоразводном процессе я имел удовольствие лично видеться с вами.

Он остановился и, казалось, ждал ответа, но майор Фалькенрид только молча утвердительно наклонил голову. Вальмоден вдруг стал очень внимателен; теперь ему стало понятно странное раздражение друга.

– И сегодня я представляю интересы своей бывшей клиентки, – продолжал адвокат. – Она поручила мне... Я могу говорить не стесняясь? – и он многозначительно посмотрел на Вальмодена, но майор коротко ответил:

– Господин фон Вальмоден – мой друг и посвящен в дело. Прошу вас не стесняться.

– Итак, моя клиентка после многих лет отсутствия вернулась в Германию и, разумеется, желает видеться с сыном. Она уже обращалась к вам по этому поводу письменно, но не получила ответа.

– Я полагал, что молчание было достаточно красноречивым ответом. Я не желаю этого свидания и не допущу его.

– Весьма резкий ответ! Во всяком случае госпожа фон Фалькенрид...

– Вы хотите сказать – госпожа Салика Роянова? – перебил его майор. – Насколько мне известно, вернувшись на родину, она снова взяла свою девичью фамилию.

– Не в этом дело. Речь идет только, о законном желании матери, в котором отец не может и не должен ей отказывать, даже если закон безоговорочно отдал ему сына.

– Не должен? А если я все-таки откажу?

– То вы превысите свои права. Но я попросил бы вас спокойно обсудить дело, прежде чем так решительно отказывать. Никакой приговор суда не в силах до такой степени лишить прав матери, чтобы ей можно было отказать даже в свидании с единственным ребенком. В данном случае закон на стороне моей клиентки, и она обратится к нему, если мое требование будет отвергнуто.

– Пусть попробует, я готов и на это. Мой сын не знает, что его мать жива, и пока не должен знать этого. Я не хочу, чтобы он виделся и говорил с ней, и сумею помешать этому свиданию. Я не изменю своего решения ни при каких обстоятельствах.

Это было произнесено тоном, не терпящим возражений; лицо Фалькенрида покрылось сероватой бледностью, а голос звучал глухо и грозно. Адвокат понял, что дальнейшие старания будут бесполезны, и пожал плечами.

– Если это ваше последнее слово, то моя миссия окончена, и нам остается принять свои меры. Весьма сожалею, что побеспокоил вас.

Он раскланялся с такой же холодной вежливостью, как и в начале визита.

Едва за ним закрылась дверь, Фалькенрид вскочил и возбужденно зашагал взад и вперед по комнате. Несколько минут в комнате царил тягостное молчание; наконец Вальмоден проговорил вполголоса:

– Этого не следовало делать! Салика едва ли согласится с твоим отказом; она и тогда упорно боролась за ребенка.

– Но я остался победителем; надеюсь, она этого не забыла.

– Тогда речь шла о том, кому достанется мальчик, – возразил Вальмоден, – теперь же мать просит только свидания, и ты не можешь воспрепятствовать ей, если она решительно потребует этого.

Майор резко остановился, и в его голосе послышалось нескрываемое презрение.

– После того, что было, она не посмеет требовать. Салика хорошо узнала меня еще тогда, когда мы развелись. Она побоится вторично доводить меня до крайности.

– Но она может попытаться тайком достичь того, в чем ты ей отказываешь.

– Это невозможно; дисциплина в нашем заведении слишком строга, и она не сможет ничего сделать, о чем бы я сразу же не узнал.

Вальмоден с сомнением покачал головой.

– Я считаю ошибкой с твоей стороны упорно скрывать от сына, что его мать жива. Что будет, если он узнает это от посторонних? И когда-нибудь да придется же ему сказать об этом.

– Может быть, через два года, когда он самостоятельно вступит в жизнь. Теперь он еще школьник, почти ребенок, я не могу рассказать ему о драме, когда-то разыгравшейся в отцовском доме.

– Так будь, по крайней мере, начеку. Ты знаешь свою бывшую жену и чего можно от нее ждать. Боюсь, что для этой женщины нет ничего невозможного.

– Да, я знаю ее, – с горечью сказал Фалькенрид, – и именно поэтому хочу оградить от нее своего сына. Он не должен дышать воздухом, отравленным ее присутствием. Я осознаю опасность, которая грозит нам с возвращением Салики, но, пока Гартмут возле меня, бояться нечего, потому что ко мне она не приблизится, даю тебе слово!

– Будем надеяться, – ответил Вальмоден, вставая и протягивая на прощанье руку. – Но не забывай, что наибольшая опасность кроется в самом Гартмуте; он до последней клеточки сын своей матери. Я слышал, послезавтра ты собираешься с ним в Бургсдорф?

– Да, он всегда проводит осенние каникулы у Виллибальда. Сам я, вероятно, пробуду там только один день, но в любом случае мы приедем вместе.

Вальмоден ушел, а Фалькенрид снова остановился у окна; его взгляд по-прежнему мрачно устремился на серые облака тумана.

«Сын своей матери!» Эти слова все еще раздавались в его ушах, но ему не было надобности слышать их от кого-то; он сам давно знал это; и именно от этих мыслей образовались такие глубокие морщины на его лбу и он так тяжело вздыхал. Он был из тех людей, которые смело встречают опасность, и уже много лет со всей своей энергией боролся с этим злополучным наследством в крови своего единственного ребенка, и боролся напрасно.

2

– А теперь серьезно прошу вас прекратить подобные бесчинства, потому что мое терпение, наконец, лопнуло! За последние три дня в Бургсдорфе все перевернулось вверх дном, будто все с ума сошли. Гартмут от макушки до пяток начинен шалостями, и как только срывается с узды, которую его папаша, по правде говоря, натягивает довольно туго, с ним нет никакого сладу, а ты, как дурак, всюду слепо следуешь за ним и послушно исполняешь все, что взбредет на ум твоему господину и повелителю. Славная парочка, нечего сказать!

Этот монолог весьма громким голосом произносила госпожа фон Эшенгаген, владелица Бургсдорфа, сидя за завтраком с сыном и братом. Большая столовая, расположенная на нижнем этаже старинного помещичьего дома, представляла простую, без всякого убранства комнату, из которой стеклянные двери вели на широкую каменную террасу, а оттуда в сад. Дюжина стульев с высокими спинками чинно, точно гренадеры, вытянулись в ряд вдоль стен; тяжелый обеденный стол и два старомодных буфета дополняли обстановку, очевидно, служившую уже многим поколениям. Предметов роскоши, вроде обоев, ковров и картин, не было; здесь довольствовались тем, что получали в наследство от предков, хотя Бургсдорф принадлежал к числу богатейших имений страны.

Внешность владелицы имения вполне соответствовала этой обстановке. Это была женщина лет сорока, высокая, крепкого телосложения, с ярким цветом лица и грубыми, полными энергии чертами. От ее зорких серых глаз ничто не ускользало. Темные волосы она гладко зачесывала назад, платье было простым, а руки, очевидно, умели делать всякую работу. В ее манерах и походке было что-то мужское.

Наследник и будущий владелец майората, которого так отчитывали, сидел против матери и слушал с должным вниманием, в то же время уплетая внушительную порцию ветчины и яиц. Это был симпатичный юноша лет семнадцати. Его внешность не говорила о присутствии в нем выдающегося ума, но зато дышала добродушием; на загорелом лице цвел здоровый румянец, в остальном же он мало походил на мать; Ему недоставало ее энергии, и даже голубые глаза и белокурые волосы были унаследованы, вероятно, от отца. Своей неловкой фигурой он напоминал молодого гунна и был полной противоположностью тщедушной, но аристократической внешности своего дяди Вальмодена, который сидел рядом с ним и говорил с легким оттенком насмешки в голосе:

– Ты поступаешь несправедливо, отчитывая Виллибальда за все эти шалости и проказы; он может служить образцом благовоспитанного сына.

– И я не советовала бы ему пробовать вести себя по-другому, у меня держи ухо востро! – воскликнула фон Эшенгаген, выразительно стукнув кулаком по столу.

– Без сомнения, ты заставишь уважать дисциплину, – ответил ей брат. – Но я посоветовал бы тебе, милая Регина, сделать еще что-нибудь для умственного развития сына. Я не сомневаюсь, что под твоим руководством из него выйдет превосходный землевладелец, но будущему хозяину имения нужно и еще кое-что, а домашних учителей Виллибальд уже перерос; пора послать его куда-нибудь на учебу.

– Ото... – Регина в безмерном удивлении положила на стол вилку и нож. – Отослать из дома? Куда же, черт возьми?

– Ну, сначала в университет, потом попутешествовать, чтобы посмотреть свет и людей.

– И чтобы он вконец испортился в этом свете и между этими людьми! Нет, Герберт, этому не бывать, заранее говорю тебе! Я воспитала своего мальчика в страхе Божиим и не намерена отпускать его в этот Содом и Гоморру, которые Господь Бог щадит только по Своему долготерпению, хотя они уже сто раз заслужили, чтобы Он послал на них серный дождь.

– Но ведь ты только понаслышке знаешь этот Содом и Гоморру, – саркастически заметил Герберт Вальмоден. – Со времени замужества ты безвыездно жила в Бургсдорфе; ведь твоему сыну придется когда-нибудь вступить в жизнь как мужчине; ты сама должна это понимать.

– Ничего я не понимаю! – упрямо заявила фон Эшенгаген. – Из Вилли должен выйти хороший помещик; для этого он и так грамотный, и ему вовсе не нужен твой ученый хлам. Или, может быть, ты хочешь взять его к себе и сделать из него дипломата? Вот была бы штука!

Она во все горло захохотала, и Вилли присоединился к ней. Вальмодену это шумное проявление веселья сильно подействовало на нервы, и он только пожал плечами.

– Такого намерения у меня и в мыслях нет; стараться сделать из него дипломата было бы напрасным трудом. Но я и Виллибальд – единственные представители нашего рода, и, если я останусь холостяком...

– «Если»? Уж не думаешь ли ты жениться на старости лет? – перебила его сестра.

– Мне сорок пять лет; у мужчин это еще не считается старостью, – несколько смущенно возразил Вальмоден. – Я вообще сторонник поздних браков; в этом случае обе стороны руководствуются рассудком, а не страстью, как это сделал, к несчастью, Фалькенрид.

– Господи, спаси и помилуй! Эдак, пожалуй и Вилли следует тянуть с женитьбой до тех пор, пока ему будет пятьдесят лет, и волосы станут седыми?

– Нет, потому что на него, как на единственного сына и наследника майората, возложены определенные обязательства. Впрочем, это зависит от него. Ты какого мнения на этот счет, Виллибальд?

Тем временем юноша управился с ветчиной и яйцами и принялся за колбасу. Он был, очевидно, крайне удивлен тем, что спрашивают его мнения; обычно этого никогда не было, а потому, подумав, он ответил:

– Да, мне, конечно, придется когда-нибудь жениться, но когда понадобится, жену мне найдет мама.

– Разумеется, найдет, мой мальчик! – согласилась фон Эшенгаген. – А до тех пор ты останешься в Бургсдорфе, у меня на глазах. Об университете да путешествиях и болтать нечего!

Она бросила на брата вызывающий взгляд, но тот в это время с ужасом смотрел на огромную порцию колбасы, которую его племянник уже второй раз клал себе на тарелку.

– У тебя всегда такой завидный аппетит, Вилли? – спросил он.

– Всегда, – самодовольно успокоил его Вилли.

– Да, мы здесь, слава Богу, еще не страдаем несварением желудка, – несколько язвительно заметила Регина. – Мы честно зарабатываем свой хлеб; сначала молимся и работаем, а потом уже едим и пьем, но зато основательно, и это поддерживает равновесие тела и души. Взгляни-ка на Вилли, как он славно выглядит! Я думаю, ему не стыдно выйти на люди.

Она по-товарищески ударила брата по плечу, но это выражение дружеских чувств было столь бесцеремонным, что Вальмоден поспешно отодвинул свой стул от сестры. Что касается Вилли, то он, очевидно, также считал себя необыкновенно славным и с весьма довольным видом принял похвалу матери, которая между тем сердито продолжала:

– А Гартмут опять не пришел к завтраку! Он, кажется, нарочно нарушает порядок, но я серьезно поговорю с ним, когда он соизволит явиться, и объясню ему...

– Он здесь! – послышался голос из сада, а вслед за тем на освещенном солнцем полу обрисовалась тень, и в окне внезапно появился высокий, стройный юноша, вспрыгнувший из сада на подоконник.

– Да ты с ума спятил, что ли, что лезешь через окно? – возмутилась фон Эшенгаген. – Для чего же существуют двери?

– Для Вилли и прочих благовоспитанных людей! Я всегда иду кратчайшей дорогой, а на этот раз она пролегла через окно.

С этими словами Гартмут Фалькенрид одним прыжком соскочил с довольно высокого подоконника в комнату.

Он находился в том возрасте, который называют переходным, но достаточно было одного взгляда, чтобы убедиться, что он во всех отношениях опередил своего ровесника Виллибальда. На нем ловко сидел кадетский мундир, и тем не менее в его фигуре было что-то, не гармонировавшее со строгой военной формой. Стройный, высокий, он был олицетворением юности и красоты, но в этой красоте было что-то чужеземное, в движениях и во всей внешности – что-то дикое, необузданное. Ни одна черта в нем не напоминала могучей фигуры отца и его серьезного спокойствия. На большой лоб падали густые вьющиеся волосы; их иссиня-черный цвет и смуглый оттенок кожи делали его похожим скорее на дитя юга, чем на уроженца Германии. Глаза у него были загадочные, темные как ночь, и в то же время полные горячего, страстного огня; как ни хороши они были, в них таилось что-то странное, производившее почти неприятное впечатление, а смех хотя и звучал очень весело, но не был беззаботным, чистосердечным смехом ребенка.

– Нельзя сказать, чтобы ты вел себя особенно этично, – резко заметил Вальмоден. – Ты, кажется, пользуешься тем, что в Бургсдорфе не заботятся об этикете, но я не думаю, чтобы отец позволил тебе так появиться в столовой.

– Да при нем он и не осмелится ни на что подобное, – добавила Регина. – Итак, ты наконец явился, Гартмут; но мы уже окончили завтрак. А ведь тот, кто опаздывает, ничего и не получает; ты это знаешь?

– Знаю, – беззаботно возразил Гартмут. – Потому-то я и попросил себе завтрак у ключницы. Тебе не удастся уморить меня голодом, тетя Регина, я в очень хороших отношениях с твоими слугами.

– Вот как! А потому ты думаешь, что можешь безнаказанно позволять себе все? – гневно крикнула хозяйка. – Нарушать заведенный в доме порядок, не давать покоя никому и ничему, переворачивать вверх дном весь Бургсдорф! Но мы положим этому конец! Завтра же я pošлю человека к твоему отцу и попрошу его забрать своего сынка, которого невозможно заставить быть аккуратным и послушным.

Угроза подействовала. Своевольный мальчик испугался и решил уступить.

– Ведь все это – только шалости! Неужели же я не могу воспользоваться своими непродолжительными каникулами...

– Для того, чтобы проделывать всякие глупости? – перебила его тетка. – Вилли за всю свою жизнь не натворил столько, сколько ты за эти три дня. В конце концов ты своим дурным примером испортишь мне его и научишь непокорности.

– О, Вилли невозможно испортить, все мои усилия напрасны, – откровенно признался Гартмут.

Действительно, молодой наследник майората совсем не был склонен к баловству; он спокойно кончал завтрак и, доев очередной бутерброд, принялся за новый. Но его мать замечание Гартмута вывело из себя.

– А тебе, кажется, очень жаль, что это так? – крикнула она. – Разумеется, ты в этом виноват, ты достаточно старался испортить Вилли! Итак, решено, завтра же пишу – твоему отцу!..

– Чтобы он меня забрал? Ты не сделаешь этого, тетя Регина, ты слишком добра. Ты знаешь, как строг папа, как сурово он наказывает; ты не пожалуешься на меня, ты никогда этого не делала.

– Отвяжись от меня со своей проклятой манерой ластиться!

Лицо у Регины было еще очень сердитое, но в голосе слышалось колебание, и Гартмут сумел этим воспользоваться. Он с непринужденностью ребенка обнял ее за шею.

– Я думал, что ты хоть немножко любишь меня, тетя Регина, а я... я задолго до каникул предвкушал удовольствие побывать в Бургсдорфе! Я чуть не заболел от тоски по лесу, озеру, по зеленым лугам, по простору голубого неба. Я был так счастлив здесь... но, конечно, если ты хочешь, я сейчас же уеду.

Его голос понизился до мягкого, ласкающего шепота, а большие темные глаза говорили еще красноречивее слов; они умели просить и, казалось, действительно обладали особенной силой; фон Эшенгаген, непреклонная повелительница Вилли и всего Бургсдорфа, пошла на уступку.

– Ну, так постарайся исправиться, проказник! – сказала она. – Что же касается того, чтобы я тебя удалила отсюда, то... к сожалению, ты слишком хорошо знаешь, что в тебя все влюблены – и Вилли, и прислуга, и я в придачу!

Гартмут громко вскрикнул от радости и в приливе благодарности поцеловал Регине руку. Потом он повернулся к товарищу, который, одолев последний бутерброд, в немом изумлении следил за происходившей сценой.

– Кончишь ли ты когда-нибудь завтракать, Вилли? Идем на пруд! Да не будь же ты таким несносным мямлей! До свиданья, тетя Регина! Я вижу, дяде Вальмодену не по вкусу то, что ты смилостивилась надо мной. Ура! В лес! – и Гартмут, как буря, вылетел на террасу, а оттуда в сад.

В этой необузданности чувствовался такой избыток молодых сил и жизнерадостности, что она производила чарующее впечатление. Юноша был весь как живчик. Вилли затрусил за ним рысцой, словно молодой медведь, и они скрылись за деревьями.

– Точно вихрь! – сказала Регина, глядя им вслед. – Налетел, и уже нет его! Гартмута ничем не удержишь, раз он сорвался с узды.

– Опасный малый! – заметил Вальмоден. – Он умеет покорять даже тебя, а ты обычно крепко держишь бразды правления. На моей памяти ты впервые прощаешь непослушание и неаккуратность.

– В Гартмуте есть что-то особенное, он просто околдовывает человека. Когда он смотрит так своими черными, огненными глазами и при этом просит и ластится – желала бы я видеть человека, у которого хватило бы духу отказать ему. Ты прав, это опасный юноша.

– Да, но оставим Гартмута, речь идет о воспитании твоего сына. Ты, действительно, решила...

– Оставить его дома. Не трудись, Герберт; может быть, ты и величайший из дипломатов и всю политику держишь в кармане, но своего мальчика я тебе не отдам. Он принадлежит мне одной, а потому останется при мне – и баста!

Это «баста» скрепилось сильным ударом по столу. Затем повелительница Бургсдорфа встала и направилась к двери, а брат пробормотал вполголоса:

– Ну, так пусть остается деревенщиной! Пожалуй, оно и лучше.

Тем временем Гартмут и Виллибальд были уже в лесу, принадлежавшем имению, и направлялись к пруду, ярко освещенному солнцем. Молодой наследник майората, выбрав себе тенистое местечко на берегу, стал удить рыбу, а непоседа Гартмут рыскал вокруг, то вспугивая птиц, то собирая цветы и ломая тростник. Наконец он принялся выделывать фортели у ствола дерева, стоявшего чуть ли не до половины в воде.

– Неужели ты не можешь и минуту спокойно посидеть на месте? Ты разгоняешь мне рыб! – с недовольством сказал Вилли. – Я еще ничего не поймал.

– Как тебе не надоедает часами сидеть на одном месте и подстергать глупых рыб! Впрочем, ты можешь круглый год бродить по лесу и по полям куда вздумается; ты свободен! Свободен!

– А ты в плену, что ли? Вы ведь с товарищами каждый день гуляете.

– Но никогда не остаемся одни, без надзора и понуканий. Мы вечно на службе, даже в часы отдыха. О, как я ненавижу эту службу, проклятую жизнь раба!

– Если бы это слышал твой отец, Гартмут!

– Он, как всегда, наказал бы меня. У него ведь для меня нет ничего, кроме строгости и наказаний. Хотя мне все равно, я уже привык! – и Гартмут во весь рост растянулся на траве.

Как ни жестко и легкомысленно звучали его слова, в них слышалась дрожащая нотка страстной, горькой жалобы. Виллибальд только задумчиво покачал голове и, насаживая на крючок червяка.

Вдруг что-то темное быстро, как молния, упало с высоты; неподвижная вода пруда всколыхнулась и заплескалась, и в следующее мгновение в воздух плавно поднялась цапля с трепещущей серебряной рыбкой в клюве.

– Bravo! Вот так меткость! – крикнул Гартмут вскакивая, Вилли же сердито заворчал:

– Проклятый разбойник опустошил весь наш пруд! Вот я скажу лесничему, пусть подстережет его.

– Разбойник? – повторил Гартмут, следя глазами за цаплей, которая уже исчезала за вершинами деревьев. – Да, конечно, разбойник, но как хороша должна быть такая разбойничья жизнь там, высоко в небе! Как молния, броситься с облаков, схватить добычу и улететь с ней туда, где тебя никто не достанет, – вот это охота! Игра стоит свеч.

– Гартмут, мне, право, кажется, что ты завидуешь такой разбойничьей жизни, – сказал Вилли с негодованием благовоспитанного мальчика.

– Если бы это и было так, то кадетский корпус давно вырвал бы все с корнем! У нас ведь послушание и дисциплина – альфа и омега всего воспитания, так что в конце концов этому непременно научишься. Вилли, тебе никогда не хотелось иметь крылья?

– Мне? Крылья? – переспросил Вилли. – Какие глупости! Кому же придет в голову желать невозможного?

– А мне хотелось бы их иметь! – с увлечением воскликнул Гартмут. – Мне хотелось бы быть соколом, от которого происходит наша фамилия. Я поднялся бы высоко-высоко в небо, летел бы все выше и выше, навстречу солнцу, и никогда не вернулся бы на землю!

– По-моему, ты спятил, – равнодушно произнес Виллибальд. – Опять ничего не поймал! Рыба не клюет сегодня, беда, да и только. Надо попробовать на другом месте.

С этими словами он собрал свои рыболовные снасти и пошел на другую сторону пруда, а Гартмут снова растянулся на земле.

Был один из тех немногих осенних дней, когда в короткие полуденные часы кажется, будто возвратилась весна. Лучи солнца были золотые, воздух – мягкий, лес – свежий и душистый; тысячи сверкающих искр, точно алмазы, дрожали на светлой поверхности маленького пруда, тихо и таинственно шелестел тростник.

Гартмут неподвижно лежал на земле и, казалось, прислушивался к этому шелесту и шепоту ветра. Исчезли дикая страстность и огонь, почти жутко пылавший в его глазах, когда он говорил о хищной птице; теперь эти глаза были мечтательно устремлены в лучистую синеву неба, и в них выражалась глубокая тоска.

Вдруг послышались легкие шаги, и в кустах раздался шорох, подобный шелесту шелкового платья, задевающего ветви; кусты раздвинулись, из них бесшумно выскользнула женская фигура и остановилась, не сводя глаз с молодого мечтателя.

– Гартмут!

Юноша вздрогнул и быстро вскочил на ноги. Он не знал ни этого голоса, ни этой женщины, но перед ним была дама, и он рыцарски-вежливо поклонился.

– Сударыня?..

Тонкая, дрожащая рука быстро опустилась на его руку, как бы приказывая молчать.

– Тише! Не так громко! Твой товарищ может услышать, а мне надо поговорить с тобой, Гартмут!

Незнакомка отступила назад и жестом пригласила юношу следовать за ней. Одно мгновение Гартмут колебался. Каким образом эта незнакомка под густой вуалью очутилась здесь? И что означало это «ты» в устах особы, которую он видел впервые? Однако таинственность этой встречи подстрекнула любопытство Гартмута, и он пошел за дамой.

Они остановились в чаще, где кусты закрывали их со всех сторон; незнакомка медленно откинула вуаль. Она была уже не очень молода, лет тридцати с лишним, но ее лицо с темными, жгучими глазами обладало своеобразным очарованием, и то же очарование было в ее глубоком, мягком голосе. По-немецки она говорила бегло, но с иностранным акцентом.

– Гартмут, взгляни на меня! Неужели ты в самом деле не помнишь меня? У тебя не сохранилось ни малейших воспоминаний из времен детства, которые подсказали бы тебе, кто я?

Юноша медленно отрицательно покачал головой, но в нем вдруг проснулось какое-то воспоминание, смутное, неуловимое – ему показалось, что он не впервые слышит этот голос, видит это лицо, что он видел его когда-то давно-давно. Растерянный, но точно очарованный, смотрел он на незнакомку; вдруг она протянула к нему обе руки.

– Сыночек мой, мое единственное дитя! Неужели ты не узнаешь своей матери?

Гартмут вздрогнул и отступил.

– Моя мать умерла! – произнес он вполголоса.

Незнакомка горько засмеялась. Странно, ее смех звучал совершенно так же, как тот жесткий смех, который недавно срывался с губ Гартмута.

– Вот как! Меня объявили умершей! Тебе не хотели оставлять даже воспоминания о матери! Это неправда, Гартмут; я жива, я стою перед тобой. Посмотри на меня, посмотри на мои черты, ведь это – твои черты. Дитя мое, неужели ты не чувствуешь, что ты мой?

Гартмут все еще стоял не двигаясь и смотрел на это лицо, в котором, как в зеркале, видел собственные черты. У дамы были те же густые иссиня-черные волосы, те же большие, как ночь, темные глаза; да, даже странное демоническое выражение, горевшее пламенем во взгляде матери, уже тлело, как искра, в глазах сына. Это сходство говорило о кровном родстве и в душе юноши проснулся голос крови. Он не потребовал ни объяснений, ни доказательств; смутное, неуловимое воспоминание детства вдруг прояснилось, и после короткого колебания он бросился в объятия, раскрывавшиеся ему навстречу.

– Мама!

В этом восклицании выразилась вся пылкая нежность мальчика, который никогда не знал материнской любви, но тем не менее тосковал по ней со всей страстностью своей натуры. Мать! Он был в ее объятиях, она осыпала его горячими ласками, сладкими, нежными именами, которых он никогда еще не слышал. Все прочее исчезло для него в потоке бурного восторга.

Прошло несколько минут; Гартмут высвободился из рук, все еще обнимавших его.

– Почему же ты никогда не приезжала ко мне, мама? – напряженно спросил он. – Почему мне сказали, что ты умерла?

Салика отступила на несколько шагов. В ее глазах вспыхнула дикая ненависть. Она почти прошипела в ответ:

– Потому что твой отец ненавидит меня, потому что он не хотел оставить мне даже любовь моего единственного ребенка, когда оттолкнул меня от себя!

Гартмут молчал ошеломленный. Правда, он знал, что в присутствии отца нельзя произносить имя матери, потому что тот строго и резко остановил его, когда юноша осмелился однажды обратиться к нему с расспросами о ней; но он был еще настолько ребенком, что не раздумывал над причиной этого.

Салика и теперь не дала ему времени на размышления. Она откинула густые волосы с его высокого лба, и по ее лицу пробежала тень.

– У тебя его лоб! – медленно сказала она. – Но это – единственное, чем ты напоминаешь его; все остальное мое, только мое. Каждая черточка доказывает, что ты мой; я так и знала!

Она снова сжала сына в объятиях, нашептывая слова нежности, на которые Гартмут отвечал так же страстно. Он был как в чадуге от счастья; это было как в чудной сказке, которой он так часто грезил, и он, ни о чем не спрашивая, ни о чем не раздумывая, поддавался очарованию.

Вдруг на противоположном берегу пруда показался Вилли; он громко звал товарища, напоминая ему, что пора домой. Салика вздрогнула.

– Мы должны расстаться! Пусть никто не знает, что я виделась и говорила с тобой, особенно же твой отец! Когда ты вернешься к нему?

– Через неделю.

– Только через неделю? О, до тех пор мы будем видеться каждый день. Завтра, в этот же час, будь здесь, у пруда, а от товарища избавься под каким-нибудь предлогом, чтобы он не мешал нам. Ты ведь придешь, Гартмут?

– Конечно, мама, но...

– Главное, никому не говори, ни одной душе! Не забывай этого! Прощай, дитя мое, мой единственный, любимый сын! До свидания!

Салика еще раз пылко поцеловала Гартмута в лоб и снова нырнула в кусты так же беззвучно, как и пришла. Она ушла как раз вовремя, потому что тут же появился Вилли.

– Почему ты не отвечаешь? – спросил он. – Я звал три раза. Уж не спал ли ты? У тебя такой вид, будто ты только что видел сон.

Гартмут в самом деле стоял точно оглушенный и смотрел на кусты, в которых исчезла его мать. Он повернулся и провел рукой по лбу.

– Да, я видел сон, – медленно проговорил он, – странный, чудесный сон!

– Лучше бы удил рыбу, – заметил Вилли. – Посмотри, какое чудо я поймал! Человек не должен видеть сны среди бела дня; он обязан делать что-нибудь путное – так говорит моя мать, а моя мать всегда права.

3

Семьи Фалькенрид и Вальмоден с давних пор были в дружеских отношениях. Их имения находились по соседству, и они часто виделись; дети их росли вместе, и множество общих интересов все больше скрепляли эту дружескую связь. Но так как их имения были невелики, то сыновьям по окончании образования пришлось самостоятельно прокладывать себе дорогу в жизни; майор Гартмут фон Фалькенрид и Герберт фон Вальмоден поступили именно так.

Они вместе играли в детстве и, став взрослыми, остались верны старой дружбе; они даже чуть не породнились, потому что их родители мечтали женить Фалькенрида, тогда лейтенанта, на Регине Вальмоден. Молодые люди, по-видимому, были полностью согласны с этим планом, и все шло как нельзя лучше, как вдруг случилось событие, внезапно все разрушившее.

За несколько лет до этого один из Вальмоденов, двоюродный брат Герберта, неисправимый вертопрах, сделавший невозможным свое пребывание в отечестве всякими сумасбродными выходками, отправился рыскать по белу свету. После долгой скитальческой жизни искателя приключений он попал в конце концов в Румынию и стал управляющим в имении богатого помещика. После смерти владельца ему удалось жениться на его вдове и таким образом снова достичь положения, которым он когда-то легкомысленно пренебрег. Тогда он вместе с женой приехал погостить к родственникам, с которыми не виделся больше десяти лет.

Госпожа фон Вальмоден уже давно отцвела и была пожилой дамой, но с ней приехала ее дочь от первого брака Салика Роянова.

Молоденькая славянка с огненным темпераментом, которой едва исполнилось семнадцать лет, окруженная ореолом чужеземной красоты, появилась, как сияющий на небосклоне метеор, и изменила до сих пор спокойную, размеренную жизнь немецких провинциалов.

Салика резко выделялась в этом кругу, обычаями и воззрениями которого она пренебрегала, и окружающие смотрели на нее как на чудо, явившееся к ним из неизвестного им мира. Многие серьезно качали головами и лишь потому не высказывали вслух своего неодобрения, что считали девушку случайной гостьей в своих краях, которая исчезнет так же внезапно, как и появилась.

В это время Гартмут Фалькенрид приехал из гарнизона в имение отца и в семье друзей познакомился с их новыми родственниками. Он увидел Салику, и судьба его была решена. Им овладела та безумная страсть, которая возникает внезапно, почти с быстротой молнии, походит на какое-то опьянение, одурение и часто оплачивается раскаянием в течение всей остальной жизни. Были забыты желания родителей и собственные мечты, забыта спокойная сердечная привязанность к подруге детства, Регине; он больше не замечал этого скромного, свежего, только что распустившегося лесного цветка. Он вдыхал лишь опьяняющий аромат чудной розы, выросшей под чужим небом, остальное больше для него не существовало; и однажды, оставшись наедине с Саликой, он признался ей в любви.

К удивлению, она ответила взаимностью. Было ли это новым доказательством справедливой поговорки, гласящей, что противоположности сходятся, и Салику, действительно, влекло к человеку, который во всех отношениях представлял полную противоположность ее натуре, или, может быть, ей льстила мысль, что один ее взгляд, одно слово могли воспламенить серьезного, спокойного и тогда уже несколько угрюмого молодого человека, – как бы то ни было, но она приняла его предложение.

Известие об этой помолвке подняло бурю в обеих семьях. Со всех сторон сыпались угрозы, предостережения, даже мать и отчим Салики были против этого брака, но всеобщее сопротивление только раздувало страсть Молодых людей; несмотря ни на что, они настояли на своем, и через полгода Фалькенрид ввел в свой дом молодую жену.

Но за коротким периодом опьянения счастьем последовало самое горькое разочарование. Со стороны Фалькенрида было роковой ошибкой воображать, что женщина, подобная Салике, выросшая среди безграничной свободы и привыкшая к беспорядочной, расточительной жизни богатых семей в своем отечестве, могла когда-нибудь подчиниться немецкому педантизму и условиям жизни в Германии. Часами носиться верхом на полудиком коне в обществе мужчин, знающих только охоту да карточную игру, вести самые непринужденные разговоры, окружать себя в своем доме, всегда переполненном гостями, внешним блеском, в то время как имения, обремененные долгами, приходят в страшный упадок – вот жизнь, которую только и знала до сих пор Салика и которая соответствовала ее наклонностям. Понятие о долге было ей так же чуждо, как вообще все в новой для нее обстановке.

И эта женщина должна была вести хозяйство молодого офицера, располагавшего лишь весьма ограниченными средствами, должна была приноравливаться к условиям жизни в маленьком немецком гарнизонном городке! Первые же недели показали, что это невозможно. Салика начала с того, что постаралась поставить свой дом на широкую ногу и принялась самым безумным образом проматывать свое весьма значительное приданое. Напрасно просил и уговаривал муж, она ничего не хотела слышать. Долг, общественное мнение вызывали в ней только насмешки; строгие нравоучения мужа о чести и приличии заставляли ее пожимать плечами. Скоро дело дошло до страшных ссор, и Фалькенрид должен был сознаться, что поступил опрометчиво.

Несмотря на все предостережения, указывавшие на различие их происхождения, воспитания и характеров, он надеялся на всемогущество любви; теперь же он окончательно убедился, что Салика не любила его, что их сблизил только каприз или, может быть, мимолетная страсть, которая угасла так же скоро, как и вспыхнула. Теперь она не видела в нем ничего, кроме надоедливой спутницы жизни, который портил ей всякое удовольствие своим глупым педантизмом и смешными понятиями о чести и всюду мешал ей; но она боялась этого человека с его энергией, всегда подчинявшего себе ее бесхарактерную натуру.

Рождение маленького Гартмута уже не могло ничего поправить в этом глубоко несчастном браке, но оно заставило супругов сохранять, по крайней мере, внешний вид благополучия. Салика страстно любила ребенка и знала, что муж ни за что его не отдаст, если дело дойдет до развода; одно это удерживало ее возле мужа, а Фалькенрид, затаив страдание, терпеливо переносил свою горькую домашнюю жизнь и прилагал все усилия, чтобы скрыть ее, по крайней мере, от окружающих.

Но правду все-таки узнали, узнали даже обстоятельства, о которых не подозревал муж. Наконец настал день, когда повязка спала с глаз обманутого человека, и он узнал то, что давно уже не было тайной ни для кого, кроме него. Непосредственным следствием этого открытия была дуэль; противник Фалькенрида погиб, а сам он был приговорен к продолжительному заключению в крепости, но, впрочем, очень скоро помилован: ведь все знали, что оскорбленный муж защищал свою честь. В то же время был начат процесс о разводе. Салика не противилась; вообще она не смела даже приближаться к мужу, потоку что дрожала перед ним с того момента, когда он привлек ее к ответу; но она делала отчаянные попытки оставить себе ребенка и вела за него борьбу не на жизнь, а на смерть.

Все оказалось напрасно; Гартмут был безоговорочно отдан отцу, а тот не допускал никаких его связей с матерью. Салика не могла даже видиться с сыном и наконец убедившись, что ничего не добьется, вернулась на родину, к матери. Казалось, она навсегда исчезла с горизонта своего бывшего мужа, как вдруг совершенно неожиданно снова появилась в Германии, где майор Фалькенрид занимал теперь видное положение в привилегированном военно-учебном заведении вблизи столицы.

4

Прошло около недели со времени приезда Гартмута в Бургсдорф. Регина фон Эшенгаген сидела в гостиной, а напротив нее расположился майор. Очевидно, предмет разговора был серьезный и неприятный, потому что Фалькенрид слушал хозяйку с мрачным лицом.

Регина продолжала:

– Перемена в Гартмуте бросилась мне в глаза уже на третий или на четвертый день. В первое время он шалил так, что с ним не было сладу, и я однажды даже пригрозила отправить его домой; и вдруг он совсем сник. Он перестал затевать глупости, начал часами бродить один по лесу, а возвратившись домой, буквально ходил как сонный. Герберт решил, что он становится благоразумнее, я же сказала: «Дело нечисто! Тут что-то кроется!» – и принялась за своего Вилли, который тоже казался мне каким-то странным. Действительно, он оказался в заговоре: он застал их однажды в лесу, и Гартмут взял с него слово, что будет молчать. И мой мальчик в самом деле молчал. Он признался только тогда, когда я пристала к нему, как с ножом к горлу. Ну, в другой раз он этого не сделает, об этом я позаботилась.

– А Гартмут? Что он сказал?

– Ничего, потому что я и не заикалась об этом; он, разумеется, спросил бы меня, почему ему нельзя видеться с родной матерью, а на такой вопрос может ответить только отец.

– Вероятно, он уже получил ответ от другой стороны, – с горечью проговорил Фалькенрид. – Только едва ли ему сказали правду.

– И я этого боюсь, а потому, как только узнала всю эту историю, не теряя ни минуты, известила вас. Что же теперь делать?

– Ну, конечно, я приму меры. Благодарю вас, Регина. Я предчувствовал беду, когда получил ваше письмо, так настойчиво зовущее меня сюда. Герберт был прав: мне не следовало ни на один час отпускать от себя сына; но я думал, что в Бургсдорфе он в безопасности. Гартмут так радовался поездке, так страстно мечтал о ней, что у меня не хватило духу лишить его этого удовольствия. Ведь он вообще только тогда весел, когда далеко от меня.

В последних словах слышалась глухая боль, но Регина фон Эшенгаген только пожала плечами.

– Не он один виноват в этом, – откровенно сказала она. – Я тоже держу своего Вилли в ежовых рукавицах, но тем не менее он знает, что у него есть мать, которой он дорог, Гартмут не может сказать того же о своем отце; он знает вас только как строгого и неприступного человека. Если бы он подозревал, что в глубине души вы его обожаете...

– То сейчас же воспользовался бы этим, чтобы обезоружить меня своей нежностью и ласками. Неужели я должен допускать, чтобы он командовал и мной так же, как всеми, кто только имеет с ним дело? Товарищи слепо повинуются ему, хотя из-за его шалостей часто получают взбучку. Ваш Вилли у него в полном подчинении, даже учителя относятся к нему с особой снисходительностью. Я – единственный человек, которого он боится и потому уважает.

– И вы надеетесь одним страхом справиться с мальчиком, которого мать осыпает безумными ласками? Не уваливайте, вы знаете, что я никогда не произносила при вас даже имени Салики, но теперь, когда она опять появилась, поневоле приходится говорить о ней, и я откровенно скажу вам, что ничего другого и нельзя было ожидать с тех пор, как она здесь. Ни на шаг не отпускать от себя Гартмута тоже не выход, потому что семнадцатилетнего юношу уже нельзя уберечь как ребенка; мать нашла бы к нему дорогу, и, в сущности, она права. Я поступила бы точно так же.

– Права? – вспыхливо воскликнул майор. – И это говорите вы, Регина?

– Это говорю я, потому что знаю, что значит иметь единственного ребенка. То, что вы отняли мальчика у жены, было в порядке вещей; такая мать не годится в воспитательницы;

но то, что вы теперь, через двенадцать лет, запрещаете ей видеться с сыном, это жестокость, которую может внушить только ненависть. Как бы ни была велика вина, наказание слишком сурово.

Фалькенрид мрачно смотрел в пол, вероятно, чувствуя справедливость этих слов; наконец он проговорил;

– Невозможно поверить, что именно вы на стороне Салики. Ради нее я горько оскорбил вас, разорвав союз...

– Который еще не был заключен, – поспешно перебила его Регина. – Это был план наших родителей, и только.

– Но мы с детства знали о нем, и он нам нравился. Не старайтесь оправдать меня, я хорошо знаю, какое зло причинил тогда вам и самому себе.

Регина спокойно смотрела на него своими ясными серыми глазами, и они увлажнились, когда она ответила:

– Ну, хорошо, Гартмут, теперь, когда мы оба давно уже не молоды, я, конечно, могу сказать правду. Я любила вас, и, вероятно, вы сделали бы из меня не совсем то, кем я теперь стала. Я всегда была своенравной и не легко кому-нибудь подчинялась, но вам я подчинилась бы. Когда, через три месяца после вашей свадьбы, я пошла к алтарю с Эшенгагеном, то вышло иначе: я взяла в руки бразды правления и начала командовать; с тех пор я основательно изучила это искусство. Однако оставим эти старые, давно прошедшие дела! Мы все-таки остались друзьями, и если теперь вам нужна моя помощь или совет – я готова.

– Я знаю это, Регина, но в таком деле я должен решать и действовать один. Прошу вас, позовите ко мне Гартмута, я поговорю с ним.

Регина встала и вышла из комнаты бормоча:

– Если только это не будет поздно! Тогда она сумела обойти отца, а теперь наверняка успела заручиться поддержкой сына.

Минут через десять вошел Гартмут. Он запер за собой дверь, Но остановился у порога. Фалькенрид обернулся к нему говоря:

– Подойди ближе; мне надо с тобой поговорить.

Юноша медленно приблизился. Он уже знал, что Виллибальд вынужден был сознаться и что о его встречах с матерью все известно, но к робости, которую он всегда чувствовал к отцу, сегодня присоединилось несомненное упорство, и это не осталось незамеченным.

Майор долгим мрачным взглядом посмотрел на своего красавца-сына и начал:

– Тебя, кажется, не удивляет мой неожиданный приезд? Может быть, ты даже знаешь, почему я здесь?

– Да, отец, я догадываюсь.

– Хорошо! В таком случае мы обойдемся без предисловий. Ты узнал, что твоя мать жива, она пришла к тебе, и ты с ней встречаешься; все это я уже знаю. Когда ты увидел ее в первый раз?

– Пять дней тому назад.

– И с тех пор говорил с ней ежедневно?

– Да, у бургсдорфского пруда.

Вопросы и ответы звучали коротко и сдержанно. Гартмут привык к этой чисто военной манере даже в разговорах с отцом, потому что тот не терпел лишних слов и колебаний или уклонений в ответах. И сегодня майор говорил тем же тоном, пытаясь этим скрыть от неопытных глаз сына свое мучительное волнение. Сын в самом деле видел только серьезное, неподвижно-спокойное лицо, слышал в голосе лишь холодную строгость. Майор продолжал:

– Я не упрекаю тебя, потому что никогда не запрещал тебе этого. Между нами даже никогда не возникал этот вопрос. Но если дело зашло так далеко, я не могу больше молчать. Ты считал, что твоя мать умерла, а я молчал, потому что хотел избавить тебя от воспоминаний,

которые отравили мою собственную жизнь; я хотел, чтобы, по крайней мере, твоя молодость была свободна от них. Я вижу, что сейчас больше нельзя молчать, и ты должен узнать правду. Еще молодым офицером я страстно полюбил твою мать и женился на ней против воли своих родителей, которые не ждали ничего хорошего от этого брака с женщиной чужой крови. Они оказались правы: наш брак был в высшей степени несчастным и кончился разводом по моему требованию. Я имел неоспоримое право требовать его, и суд отдал сына мне. Большого я тебе не скажу, потому что не могу обвинять мать перед сыном.

Как ни коротко было это объяснение, оно произвело удивительное впечатление на Гартмута. Отец не хотел обвинять перед ним мать, в то время как он ежедневно выслушивал от нее самые горькие жалобы и обвинения против отца. Салика, разумеется, свалила всю вину в разводе на мужа и его неслыханное тиранство и нашла в сыне даже чересчур хорошего слушателя, так как его темпераментная натура тяжело страдала под гнетом строгости отца. И все-таки теперь скупые серьезные слова майора действовали сильнее, чем все страстные излияния матери; Гартмут инстинктивно почувствовал, на чьей стороне была правда.

– Теперь к делу! – снова заговорил Фалькенрид. – О чем вы ежедневно беседовали?

Гартмут явно не ожидал подобного вопроса; горячий румянец залил его лицо, он молча опустил глаза.

– Ты не смеешь мне об этом сказать? Но я требую, отвечай, я приказываю!

Но Гартмут продолжал молчать, и его глаза с выражением мрачного упорства встретили взгляд отца.

– Ты не хочешь говорить? – воскликнул тот. – Может быть, тебе запретили? Ну, все равно, твое молчание говорит больше чем слова. Я вижу, как тебя уже настроили против меня, и я окончательно потеряю тебя, если допущу, чтобы это влияние продолжалось еще хоть некоторое время. Твои свидания с матерью должны прекратиться, я запрещаю их. Ты сегодня же уедешь со мной домой и будешь под моим надзором. Может быть, это покажется тебе жестоким, но так должно быть, и ты обязан подчиниться.

Однако майор ошибался, полагая, что сын покорится простому приказанию: за последние дни мальчик прошел школу, в которой ему систематически внушалось сопротивление отцу.

– Ты не можешь, не имеешь права приказывать мне это! – вскрикнул он с горячностью. – Это моя мать, которую я наконец-то нашел и которая одна в целом свете любит меня! Я не позволю опять отнять ее у меня, как это сделали раньше! Я не позволю принуждать меня ненавидеть ее только потому, что ее ненавидишь ты! Угрожай, наказывай, делай что хочешь, но на этот раз я не буду подчиняться!

Вся необузданная страстность юноши вылилась в этих словах. Неприятный огонь снова пылал в его глазах, руки были сжаты в кулаки, каждый нерв дрожал в нем в порыве возмущения; очевидно, он решился вступить в борьбу с отцом, которого прежде боялся.

Но взрыва гнева не последовало; Фалькенрид смотрел на него серьезно и молча, с выражением тяжелого упрека во взгляде.

– Одна в целом свете любит тебя! – медленно повторил он. – Ты, верно, забыл, что у тебя есть еще отец?

– Который не любит меня! – крикнул Гартмут с безграничной горечью. – Только теперь, когда я нашел мать, я знаю, что такое любовь!

– Гартмут!

При звуке этого странного, дрожащего от боли голоса, который, он слышал впервые, юноша удивленно уставился на отца и слова замерли на его губах.

– Ты сомневаешься в моей любви, потому что не видел от меня нежностей, потому что я воспитывал тебя серьезно и строго? – продолжал Фалькенрид. – А знаешь ли ты, чего стоила мне эта строгость с любимым ребенком?

– Отец!..

Это восклицание прозвучало робко и нерешительно, но это были уже не прежняя робость и страх; в голосе Гартмута слышались зарождающееся доверие и радостное изумление, а его глаза, как прикованные, не отрывались от отца.

Между тем майор положил руку ему на плечо и тихонько притягивал его к себе продолжая:

– Когда-то и у меня было честолюбие, были гордые надежды, великие планы и намерения; со всем этим я покончил, когда меня поразил тот удар, от которого я никогда не оправлюсь. Если я еще живу и работаю, то, кроме сознания долга, меня побуждает к этому лишь одно: мысль о тебе, Гартмут. В тебе все мое честолюбие, сделать твое будущее великим и счастливым – это единственное, чего я еще хочу от жизни. И оно может быть великим, Гартмут, потому что ты одарен необыкновенными способностями, а твоя воля тверда и в дурном, и в хорошем. Но в твоей натуре есть и плохие качества, это твоя беда, а не вина, и они должны быть вовремя подавлены, если ты не хочешь, чтобы они пересилили тебя и привели к несчастью. Я был обязан быть строгим, чтобы обуздать эти опасные наклонности, но это было совсем нелегко.

Лицо юноши пылало; затаив дыхание, он ловил каждое слово отца и теперь проговорил шепотом, за которым чувствовался еле сдерживаемый восторг:

– Я не смел до сих пор любить тебя! Ты был всегда так холоден, так замкнут, и я...

Он замолчал и опять взглянул на отца, который обнял его и крепко прижал к себе. Их взгляды встретились, и они поняли друг друга. Голос майора, всегда сдержанный, прерывался, когда он тихо проговорил:

– Ты – мой единственный сын, Гартмут, единственное, что мне осталось от мечты о счастье, исчезнувшей как сон, и сменившейся разочарованием и горечью. Тогда я много потерял, но перенес потерю; если бы мне пришлось потерять тебя, я бы не пережил этого!

Он снова крепко обнял сына, который рыдая бросился к нему на грудь, и в этом горячем, страстном объятии исчезло все. Оба забыли, что между ними грозно стояла тень, выступившая из прошлого и разлучавшая их.

Тем временем внизу, в столовой, Регина фон Эшенгаген отчитывала своего Вилли. Молодой наследник майората имел очень сокрушенный вид; он чувствовал себя виноватым и перед матерью, и перед товарищем в одно и то же время, а между тем, в сущности, во всей этой истории был совершенно ни при чем. Как почтительный сын он терпеливо выслушивал упреки и только время от времени бросал тоскливый взгляд на ужин, который уже давно стоял на столе, но мать не замечала, что сын голоден.

– Так бывает всегда, когда дети действуют за спиной у родителей! – закончила свою проповедь фон Эшенгаген. – Гартмуту там намылят голову, майор не станет с ним нежничать, а ты, я думаю, тоже не станешь впредь принимать участие в заговорах да разыгрывать роль укрывателя.

– Да я вовсе не разыгрывал такой роли! Я только обещал молчать и должен был сдержать слово.

– От матери ты не должен был скрывать, мать всегда и везде исключение, – решительно возразила Регина.

– Да, мама, очевидно, и Гартмут так думал, когда речь шла о его матери, – заметил Виллибальд.

Против такого справедливого замечания возразить было нечего, но тем сильнее рассердило оно Регину.

– Это совсем другое дело! – отрезала она.

– Почему же другое?

– Ты выведешь меня из терпения своими вопросами да рассуждениями! – гневно крикнула мать. – Это вещи, которых ты не понимаешь да и не должен понимать. И то уже скверно, что Гартмут натолкнул тебя на них. Изволь молчать и не думать о них! Понял?

Вилли покорно замолчал. Впервые в жизни его упрекали в излишней любознательности и желании рассуждать. Кроме того, в комнату вошел дядя Вальмоден, только что вернувшийся откуда-то домой.

– Мне сообщили, что Фалькенрид уже приехал, – сказал он, подходя к сестре.

– Да. Он приехал сразу же, как только получил мое письмо.

– Как же он принял известие?

– Внешне довольно спокойно, но я прекрасно видела, что у него на душе. Теперь он говорит с Гартмутом, и, должно быть, там будет буря.

– Жаль! Но я это предсказал, как только услышал о возвращении Салики. Фалькенриду следовало тогда же поговорить с сыном; боюсь, что за первой его ошибкой последует вторая, и он попытается разлучить их насильно. Какое упрямство и прямолинейность! Это в данном случае совершенно неуместно.

– Мне кажется, их переговоры тянутся чересчур долго, – озабоченно сказала Регина. – Я пойду посмотрю, как обстоят дела. Подожди здесь, Герберт, я сейчас вернусь.

Она вышла из комнаты. Вальмоден принялся беспокойно ходить взад и вперед, а племянник продолжал одиноко сидеть у стола перед ужином, о котором до сих пор никто не вспомнил. Приняться за него один он не решался, потому что мамаша была настроена в высшей степени немилостиво. К счастью, через несколько минут она вернулась, и на этот раз ее лицо сияло.

– Все в порядке! – коротко сказала она. – Он держит сына в объятиях, а тот висит у него на шее; остальное само собой уладится. Слава Богу! Можешь есть, Вилли, буря, нарушившая весь порядок в доме, кончилась.

Вилли поспешил воспользоваться полученным разрешением. Но Вальмоден покачал головой и заметил вполголоса:

– Если только она, действительно, кончилась!

5

Фалькенрид и Гартмут не заметили, что дверь тихонько приоткрылась и так же тихо опять закрылась. Гартмут все еще обнимал отца; его робость и сдержанность исчезли и уступили место бурной нежности; он был чарующе мил, и, может быть, отец не без основания опасался, чтобы его ласки не лишили его твердости. Майор почти не говорил, но часто прижимался губами ко лбу сына и не сводил глаз с его прелестного, полного жизни лица. Наконец Гартмут тихо проговорил:

– А... моя мать?

– Твоя мать уедет из Германии, когда убедится, что ты и впредь должен оставаться вдали от нее, – сказал майор на этот раз без всякой жесткости в голосе, но твердо. – Ты можешь ей писать; я разрешаю переписку с некоторыми ограничениями, но личных отношений я не могу и не должен допускать.

– Отец, подумай...

– Я не могу, Гартмут, это невозможно!

– Неужели ты так ненавидишь ее? – с упреком спросил юноша. – Ты пожелал развода, а не она; я знаю это от нее самой.

Губы Фалькенрида дрогнули. Горькие слова готовы были сорваться с его языка; он хотел сказать, что развод был вопросом чести, но взглянул на вопросительно устремленные на него глаза сына, и слова замерли на его губах; он не мог обвинять мать перед сыном.

– Оставь это! – мрачно ответил он. – Я не могу ответить тебе на этот вопрос. Может быть, позднее ты узнаешь и поймешь руководившие мной мотивы; теперь же я не могу избавить тебя от жестокой необходимости сделать выбор: ты должен принадлежать только одному из нас, с другим надо расстаться. Смотри на это как на волю судьбы.

Гартмут опустил голову; он чувствовал, что в настоящую минуту ничего больше не добьется. Он и раньше знал, что свидания с матерью должны будут прекратиться, когда он вернется домой, к строгой дисциплине учебного заведения; теперь отец разрешал переписку – это было больше, чем он смел надеяться.

– Я скажу это матери, – ответил он убитым голосом. – Теперь, когда ты все знаешь, я, конечно, могу идти к ней открыто.

Майор остолбенел; он совершенно не думал о возможности такого вывода.

– Когда же ты собираешься увидеться с ней?

– Сейчас у пруда; она, наверно, уже там.

Фалькенрид боролся с собой. Какой-то голос в его душе убеждал его не допускать этого свидания, но он чувствовал, что запретить его было бы жестоко.

– Ты вернешься через два часа? – спросил он наконец.

– Конечно, отец, даже раньше, если ты потребуешь.

– Так иди. – Майор глубоко вздохнул. Видно было, какой борьбы стоило ему это согласие, на которое заставило решиться чувство справедливости. – Как только ты вернешься, мы поедем домой, ведь твои каникулы заканчиваются.

Гартмут вдруг остановился; слова отца напомнили ему о том, о чем он совсем забыл в последние полчаса, – о гнете и строгости ненавистной службы, которая опять ожидала его. До сих пор он не смел открыто выказывать отвращение к ней, но этот час безвозвратно унес с собой его робость перед отцом, а с ней сорвал и печать молчания с его уст. Уступая минутной слабости, он вернулся и обнял отца за шею.

– У меня к тебе просьба, – прошептал он, – большая-большая просьба, которую ты непременно должен выполнить! Я знаю, ты согласишься в доказательство того, что действительно любишь меня.

– А тебе еще нужны доказательства? Ну, говори!

Гартмут еще крепче прижался к отцу; его голос опять зазвучал той неотразимой, чарующей лаской, благодаря которой отказать ему в чем-нибудь было почти невозможно, а темные глаза смотрели с горячей мольбой.

– Позволь мне не быть военным, отец! Я не люблю службы и никогда не полюблю ее. Если я до сих пор покорялся твоей воле, то с отвращением, с затаенным гневом. Я чувствовал себя безгранично несчастным, только не смел тебе признаться.

Морщинка между бровей Фалькенрида стала глубже; он медленно выпустил сына из объятий.

– Другими словами, ты не хочешь подчиняться! – сурово сказал он. – А между тем тебе это нужнее, чем кому бы то ни было.

– Но я не в силах выносить гнет, – страстно воскликнул Гартмут, – а военная служба – не что иное, как постоянный гнет, каторга! Вечно подчиняться, никогда не иметь собственной воли, изо дня в день соблюдать железную дисциплину, которая убивает всякую самостоятельность, – я не могу выносить этого! Все во мне рвется навстречу свободе, свету и жизни! Отпусти меня, отец! Не держи меня больше на цепи; она душит меня, я умираю!

Эти неосторожные слова для преданного военной службе человека прозвучали как оскорбление. Отец вдруг выпрямился и, оттолкнув его от себя, резко сказал:

– Я полагал, что военная служба – не каторга, а честь! Хорошо, нечего сказать, что мне приходится напоминать об этом собственному сыну! Свобода, свет, жизнь! Уж не думаешь ли ты, что имеешь право в семнадцать лет очертя голову броситься в водоворот жизни и упиваться ее благами? Для тебя эта желанная свобода была бы только распущенностью, гибелью!

– А если бы и так! – крикнул Гартмут вне себя. – Лучше погибнуть на свободе, чем жить в такой кабале! Для меня служба – каторга, рабство!..

– Молчать! Ни слова больше! – крикнул Фалькенрид так грозно, что юноша замолчал, несмотря на страшное возбуждение. – У тебя нет больше выбора, потому что ты уже на службе и принял присягу, и горе тебе, если ты забудешь об этом! Ты должен сначала получить офицерский чин и исполнять свой долг, как все твои товарищи; потом, когда ты достигнешь совершеннолетия и я не смогу помешать тебе, – выходи, если хочешь, в отставку, хотя то, что мой единственный сын уклонился от военной службы, для меня будет смертельным ударом.

– Отец, неужели ты считаешь меня трусом? – вспыхнул Гартмут. – Во время войны, в сражении...

– Ты проявлял бы безумную смелость и слепо подвергался бы опасности. Ты действовал бы на собственный страх и своим своеволием, которое не признает дисциплины, погубил бы и себя, и своих подчиненных. Я знаю это дикое стремление к свободе и жизни, которое не уважает никаких границ, ни во что ставит долг; я знаю, от кого ты его унаследовал и к чему оно ведет. А потому я буду держать тебя «на цепи». Ты должен научиться повиновению, пока еще не ушло время, и научись – даю тебе слово!

Его голос звучал по-прежнему непреклонно и сурово, в его чертах не осталось ни малейшего следа мягкости и нежности, и Гартмут слишком хорошо знал отца, чтобы продолжать просить или настаивать. Он не ответил ни слова, но в его глазах загорелась демоническая искра, а крепко сжатые губы зло искривились. Он молча повернулся и направился к двери.

Майор следил за ним взглядом. В его душе снова шевельнулось предчувствие несчастья. Он окликнул сына.

– Гартмут, ты ведь вернешься через два часа? Ты даешь мне слово?

– Да, отец!

– Хорошо. Я смотрю на тебя как на взрослого, и спокойно отпускаю тебя под честное слово. Будь же аккуратен.

Через несколько минут после ухода юноши в комнату вошел Вальмоден.

– Ты один? – с удивлением спросил он. – Я не хотел тебе мешать, но только что увидел, как Гартмут пробежал через сад. Куда он отправился так поздно?

– К матери, проститься с ней.

Вальмоден остолбенел от удивления, услышав этот неожиданный ответ.

– С твоего согласия? – быстро спросил он.

– Разумеется. Я позволил.

– Какая неосторожность! Ты только что убедился, что Салика умеет настаивать на своем, и тем не менее опять позволяешь ей влиять на сына.

– На какие-нибудь полчаса. Не мог же я не дать ему проститься. И чего ты боишься? Уж не насилия ли с ее стороны? Гартмут – не ребенок, которого можно на руках отнести в экипаж и увезти, несмотря на его сопротивление.

– А если он не будет сопротивляться?

– Он дал мне слово вернуться через два часа.

– Слово семнадцатилетнего юноши!

– Который воспитан для военной службы и знает, что значит честное слово. Это несколько не беспокоит меня, я опасюсь совсем другого.

– Регина сказала мне, что вы наконец поладили, – заметил Вальмоден, бросая взгляд на сильно озабоченного друга.

– На несколько минут, а потом мне опять пришлось быть строгим, суровым отцом, и именно этот час показал мне, какая трудная задача покорить и воспитать эту необузданную натуру; но, что бы там ни было, я с ней справлюсь.

Вальмоден подошел к окну и стал смотреть в сад.

– Уже смеркается, а до бургсдорфского пруда, по крайней мере, полчаса ходьбы, – проговорил он вполголоса. – Если это последнее свидание неизбежно, то тебе следовало разрешить его не иначе как в твоём присутствии.

– Чтобы встретиться с Саликой? Это невозможно! Я не могу и не хочу встречаться с ней.

– А если это прощание кончится иначе, чем ты думаешь? Если Гартмут не вернется?

– В таком случае он был бы негодяем, клятвопреступником, дезертиром, потому что он уже носит оружие! – воскликнул Фалькенрид. – Не оскорбляй меня подобным предположением, Герберт, ведь ты говоришь о моем сыне.

– Гартмут в то же время – сын Салики. Впрочем, не будем спорить, тебя ждут в столовой. Ты собираешься сегодня же уехать?

– Да, через два часа, – твердо и спокойно ответил майор. – К тому времени Гартмут вернется, я ручаюсь за это.

Тем временем смеркалось. Короткий осенний день приближался к концу, а из-за тяжелых туч, заволакивавших небо, ночь наступала раньше обычного.

По берегу бургсдорфского пруда беспокойно ходила взад и вперед Салика. Она вся превратилась в слух и напряженно ждала, не появится ли сын, но было тихо.

С того дня, когда Виллибальд застал ее и Гартмута в лесу и они вынуждены были посвятить его в тайну, Салика перенесла встречи с сыном на вечер, когда в лесу было совершенно пустынно, но они всегда расставались до наступления сумерек, чтобы позднее возвращение Гартмута в Бургсдорф не возбудило каких-либо подозрений. До сих пор он всегда был аккуратен, а сегодня мать ждала напрасно уже целый час. Задержался ли он случайно или же их тайна была открыта? С тех пор, как о ней знало третье лицо, можно было постоянно ожидать неприятностей.

В лесу стояла мертвая тишина. Под деревьями уже легли ночные тени, а над прудом колебался туман; по ту сторону пруда, над лугом, скрывающим под своей обманчивой зеленью болото, туман клубился еще гуще и расплзался по сторонам. Оттуда веяло сыростью и холодом, как из могилы.

Наконец послышался слабый звук шагов, и вскоре показалась стройная фигура юноши, которую едва можно было различить в темноте. Салика бросилась ему навстречу, и в следующую минуту сын был в ее объятиях.

– Что случилось? – спросила она, осыпая его бурными ласками. – Отчего ты так поздно? Я уже потеряла было надежду увидеться с тобой сегодня. Что тебя задержало?

– Я не мог прийти раньше, – с трудом ответил Гартмут, задыхаясь от быстрой ходьбы. – Я прямо... от отца.

– От отца? – вздрогнула Салика. – Он знает?..

– Все!

– Он в Бургсдорфе? Когда он приехал? Кто его известил?

Юноша торопливо стал рассказывать, что случилось, и едва он закончил, раздался горький смех матери.

– Понятно! Все, все они в заговоре, когда речь идет о том, чтобы отнять у меня мое дитя! А отец? Он, конечно, опять сердился, грозил и заставил тебя дорогой ценой искупить тяжкое преступление – свидание с матерью!

Гартмут покачал головой. Воспоминание о той минуте, когда отец привлек его к себе на грудь, было еще свежо в его памяти, несмотря на горечь заключительной сцены.

– Нет, – тихо сказал он, – но он запретил мне видеться с тобой и неумолимо требует нашей разлуки.

– И тем не менее ты здесь! О, я знала это! – В ее тоне слышалось ликование.

– Не радуйся слишком рано, мама! – с горечью проговорил юноша. – Я пришел только проститься с тобой.

– Гартмут!

– Отец знает об этом, он позволил мне пойти проститься, а потом...

– А потом он увезет тебя к себе, и ты будешь потерян для меня навеки. Не так ли?

Гартмут молча обеими руками обхватил мать и громко зарыдал.

Между тем наступила холодная, мрачная осенняя ночь без лунного света и сияния звезд. Луг, с которого перед этим подымались белые клубы тумана, вдруг ожил, там вспыхнуло какое-то голубоватое сияние; вначале оно лишь тускло просвечивалось сквозь туман, потом постепенно стало яснее и ярче и загорелось, как пламя. Это пламя то исчезало, то снова вспыхивало, а вслед за ним появилось другое, третье, блуждающие огни начали свой призрачный танец, от которого на душе становилось жутко.

– Ты плачешь? – Салика прижала сына к себе. – Я давно это предвидела. Даже если бы молодой Эшенгаген не выдал нас, все равно в день отъезда из Бургсдорфа к отцу ты был бы поставлен перед выбором или расстаться со мной, или... решиться.

– На что решиться? – озадаченно спросил Гартмут. Салика понизила голос до шепота.

– Неужели ты без всякого сопротивления подчинишься этой тирании, позволишь разорвать священную связь между матерью и ребенком и растоптать нашу любовь? Если ты в состоянии так поступить, то в твоих жилах нет ни капли моей крови, ты не мой сын. Он послал тебя проститься со мной, и ты покорно принимаешь эту последнюю милость? Ты в самом деле пришел проститься на много лет?

– Я должен! – с отчаянием возразил Гартмут. – Ты знаешь отца и его железную волю; разве есть какая-нибудь возможность противиться ей?

– Если ты вернешься к нему, то нет. Но кто же заставляет тебя возвращаться?

– Мама! Бога ради! – с ужасом вскрикнул Гартмут, но руки матери не выпускали его, а над его ухом продолжал раздаваться страстный шепот:

– Что так пугает тебя в этой мысли? Ведь ты всего лишь уйдешь к матери, которая безгранично любит тебя и с этой минуты будет жить для тебя одного. Ты столько раз жаловался, что ненавидишь службу, к которой тебя принуждают, что с ума сходишь от тоски по свободе.

Если ты вернешься к отцу, у тебя уже не будет выбора: он будет неумолимо держать тебя на цепи и не освободит, даже если будет знать, что ты умрешь.

Салике не было надобности уверять в этом сына, Гартмут знал это лучше нее. Всего какой-нибудь час тому назад он имел возможность убедиться в непреклонности отца; в его ушах еще звучали суровые слова: «Ты должен научиться повиновению и научись!» Его голос стал почти беззвучным от прилива горечи, когда он ответил:

– И все-таки я должен вернуться; я дал слово быть в Бургсдорфе через два часа.

– В самом деле? Так я и знала! То тебя считали ребенком, который шага ступить не может самостоятельно; каждая твоя минута была рассчитана, ты не смел иметь ни одной собственной мысли; но как только речь зашла о том, чтобы удержать тебя, за тобой вдруг признали самостоятельность взрослого человека! Ну, хорошо, так покажи же, что ты взрослый не только на словах, действуй как взрослый! Обещание под принуждением ничего не стоит; разорви же невидимую цепь, на которой тебя хотят удержать! Освободись!

– Нет! нет! – пробормотал Гартмут, возобновляя попытку вырваться из ее рук.

Ему это не удалось, он смог только отвернуть лицо и стал смотреть в темноту. Перед ним были только лес и болото, на котором блуждающие огни продолжали водить свои призрачные хороводы. Теперь там всюду вспыхивали дрожащие огненные язычки; они колеблясь летали над землей, гоняясь друг за другом, то убегая, то погружаясь в волны тумана и угасая, то снова загораясь. Эта таинственная игра производила странное, жуткое впечатление, но в то же время притягивала к себе; она обладала демоническими чарами бездны, скрытой под обманчивым зеленым ковром.

– Пойдем со мной, Гартмут! – попросила Салика тем ласкающим, неотразимым тоном, который делал ее, как и сына, почти всемогущей. – Я давно все предвидела и приготовила; я ведь знала, что настанет день, подобный сегодняшнему. До моего экипажа полчаса ходьбы, он отвезет нас на ближайшую станцию железной дороги, и, прежде чем в Бургсдорфе заподозрят, что ты не вернешься, курьерский поезд уже унесет нас далеко-далеко! Там свобода, жизнь, счастье! Я поведу тебя в великий, свободный мир, и только тогда, когда ты его узнаешь, ты вздохнешь полной грудью и почувствуешь восторг освобожденного из темницы узника. Я знаю, каково бывает на душе у такого счастливец, ведь и я носила эти цепи, которые сама сковала себе в безумном ослеплении... Но я разорвала бы их в первый же год, если бы не было тебя. О, как хорошо быть свободным. Ты тоже почувствуешь это.

Она умела убедить. Свобода, жизнь, счастье! Эти слова отзывались в душе юноши тысячеголосым эхом. Светлой, чарующей картиной, залитой волшебным сиянием, открывалась перед ним жизнь, которую обещала ему мать. Стоило ему протянуть руку – и она принадлежала бы ему.

– Я дал слово... – пробормотал он, делая последнюю попытку вырваться. – Отец будет презирать меня, если...

– Если ты достигнешь большого прекрасного будущего? – страстно перебила его Салика. – Тогда ступай к нему и спроси, осмелится ли он презирать тебя! Он хочет удержать тебя на земле, тогда как природа дала тебе крылья, которые уносят тебя в высь! Он не понимает твоей природы и никогда не поймет. Неужели ты хочешь погибнуть из-за пустого обещания? Пойдем со мной, мой Гартмут, со мной, с матерью, для которой ты все! Пойдем на свободу!

Салика увлекала сына медленно, но неудержимо. Он еще противился, но ему не удалось вырваться, и мало-помалу мольбы и ласки матери отняли у него последние силы к сопротивлению. Он пошел за ней.

Через несколько минут мать и сын исчезли; кругом царил мрак и тишина. Только над болотом, в тумане, все еще кипела та же беззвучная, призрачная жизнь; таинственные огни бездны качались в воздухе, разгорались, исчезали и снова вспыхивали, продолжая свою беспокойную игру.

6

Опять наступила осень. Теплые, золотые лучи ясного сентябрьского солнца заливали своим светом зеленое море леса, расстилавшееся без границ во все стороны, насколько мог видеть глаз.

Этот величественный лес был остатком еще древних лесов, покрывавших некогда всю южную Германию; столетние гиганты были здесь не редкостью. Страна вообще была горной; лес рос по холмам и долинам, постоянно сменявшим друг друга. В то время как железная дорога усердно ткала свою сеть, захватывая одну местность за другой, «тор» (так назывался в народе этот обширный округ) все еще стоял отрезанным от мира, словно зеленый остров, не тронутый шумом и суетой жизни.

То там, то сям среди зелени леса выглядывали селение или старинный замок с полуразрушенными стенами. Только одно величественное здание, стоявшее на возвышенности и господствовавшее над всей окрестностью, составляло в этом отношении исключение. Это был Фюрстенштейн, охотничий замок герцога, а в настоящее время местопребывание главного лесничего. Замок был выстроен в начале прошлого столетия и отличался громадными размерами, свойственными тому времени, когда охотничьему замку часто приходилось принимать в своих стенах на несколько недель весь придворный штат. Издали Фюрстенштейн был едва виден, потому что лес покрывал всю замковую гору, и его серые стены, башни и балконы едва выглядывали из-за зеленых вершин сосен. Только стоя в воротах можно было получить представление об истинных размерах старинного здания, к которому примыкало еще множество меньших пристроек более позднего времени. Замок заботливо поддерживали и подновляли; многочисленные покои верхнего этажа всегда были готовы принять герцога, который приезжал сюда каждый год осенью. Нижний этаж, также весьма обширный, был отведен лесничему Шонау, который жил здесь уже много лет и умел скрасить одиночество, радушно принимая у себя гостей и часто в свою очередь посещая соседей.

И теперь у него гостила невестка, Регина фон Эшенгаген, а на днях ожидали и ее сына. Обе сестры Вальмоден сделали хорошие партии: старшая вышла, за владельца бургсдорфского майората, а младшая – за Шонау, происходившего из очень богатой южно-германской дворянской семьи. Несмотря на разделявшее их значительное расстояние, сестры постоянно поддерживали сердечные отношения и даже после смерти младшей дружба между семьями не распалась.

Впрочем, эта дружба отличалась оригинальностью, потому что лесничий был постоянно в контрах со своей невесткой. У обоих были одинаково грубоватые и прямолинейные натуры, и потому они при малейшем недоразумении ссорились; правда, они каждый раз мирились и давали слово больше не делать этого, но каждый раз нарушали обещание.

Однако в настоящую минуту, когда они сидели на маленькой террасе перед гостиной, между ними царил необыкновенное согласие. Лесничий был еще статный мужчина с крупными чертами лица и с седоватыми, но еще густыми волосами и бородой. Он небрежно откинулся на спинку стула и слушал невестку, которая, как всегда, задавала тон в разговоре. Теперь ей было уже за пятьдесят, но она почти не изменилась за последние десять лет. Правда, на лице появились кое-где морщинки, а в волосах серебрились отдельные нити, но серые глаза ничуть не утратили своего блеска и пронизательности, голос звучал так же громко и уверенно, осанка была такой же статной как раньше.

– Так что Вилли придет через неделю, – продолжала она. – Он еще не совсем закончил уборку хлеба, но на следующей неделе она будет завершена, и он может ехать к невесте. Хотя это дело между нами уже давно слажено, но я настаивала на отсрочке, потому что у девушки шестнадцати-семнадцати лет голова, конечно, еще набита всякими глупостями, и она не смо-

жет как следует вести хозяйство. Теперь же Тони двадцать лет, а Вилли – двадцать семь; как раз то, что надо. Ты ведь согласен обручить их теперь, Мориц?

– Совершенно согласен, – ответил лесничий. – И по другим вопросам мы одинакового мнения. Половина моего состояния перейдет сыну, другая половина – дочери, а приданым, которое я дам ей сейчас, ты тоже останешься довольна.

– Да, ты на него не поспешил. Что касается Вилли, то он уже три года владеет бургсдорфским майоратом; остальное наследство, согласно завещанию, пока в моих руках, но после моей смерти, разумеется, тоже перейдет к нему. Терпеть нужду молодым не придется, об этом нечего беспокоиться. Итак, можно считать дело решенным?

– Можно считать решенным. Сейчас мы отпразднуем помолвку, а весной и свадьбу.

Регина, покачивая головой, возразила диктаторским тоном:

– Это не годится. Свадьба должна быть зимой, весной Вилли будет некогда.

– Вздор! Для свадьбы всегда найдется время, – заявил Шонау столь же безапелляционным тоном.

– В деревне – нет! – стояла на своем Регина. – У нас на первом плане работа, а потом удовольствие. Так заведено исстари, и Вилли привык следовать этому правилу.

– Но я попрошу его сделать исключение для жены, а не то пусть убирается к черту! – сердито крикнул лесничий. – Вообще, ты знаешь мое условие, Регина; девочка не видела твоего сына два года; если он ей не понравится – я принуждать ее не стану.

Этими словами он задел самое чувствительное место невестки. Уязвленная в своей материнской гордости, она закинула голову назад и воскликнула:

– Надеюсь, что у твоей дочери есть некоторый вкус. Впрочем, я настаиваю на добром старом обычае, по которому браки устраиваются родителями; так было в наше время, и мы при этом отлично себя чувствовали. Ну что смыслит молодежь в таком серьезном деле! Ты же с самого раннего детства предоставил детям полную свободу; сразу видно, что в доме нет матери.

– Разве это моя вина? – раздраженно спросил Шонау. – Может быть, по-твоему, мне следовало привести в дом мачеху? Правда, раз я хотел сделать это, да ты не пожелала, Регина.

– Нет, с меня довольно и одного раза!

Этот сухой ответ еще сильнее рассердил лесничего.

– Ну, полагаю, на покойного Эшенгагена тебе нечего жаловаться; он плясал под твою дудку вместе со всем своим Бургсдорфом. Конечно, у меня тебе не так легко было бы забрать власть.

– Не более как через месяц она была бы в моих руках, – спокойно объявила Регина, – и ты первый подчинялся бы моим командам, Мориц!

– Что? И ты говоришь это мне в лицо? Хочешь – попробуем? – закричал Шонау, приходя в ярость.

– Покорно благодарю! Я не намерена второй раз выходить замуж. Не трудись!

– И не собираюсь! Будет с меня и одного отказа! Тебе не придется вторично оставлять меня с носом!

Лесничий в бешенстве оттолкнул свой стул и отошел. Регина преспокойно продолжала сидеть; через некоторое время она заговорила совершенно дружеским тоном:

– Мориц! Когда должен приехать Герберт с женой?

– В двенадцать, – послышался сердитый голос с другого конца террасы.

– Я очень рада, что он приедет. Мы ведь с ним не виделись с тех пор, как его назначили посланником в вашу столицу. Я всегда говорила, что Герберт – гордость нашей семьи и нигде не ударит в грязь лицом. Теперь он прусский посланник при вашем дворе, его превосходительство...

– И притом жених в пятьдесят шесть лет, – насмешливо докончил лесничий.

– Да, нельзя сказать, чтобы он поторопился жениться, но зато он сделал блестящую партию. Для человека его лет не шутка найти себе такую жену как Адельгейда – молодую, красивую, богатую...

– Но мещанского происхождения, – вставил Шонау.

– Какой вздор! Кто в наше время интересуется родословной, когда перед ним миллион? Герберту нужны деньги; он всю жизнь испытывал нужду, а расходы, обязательные для посланника, превышают его жалование. Впрочем, ему нечего стыдиться своего тестя, Штальберг был одним из первых промышленников в нашей стране и притом честнейшим человеком. Жаль, что он умер сразу же после замужества дочери. Во всяком случае Адельгейда сделала очень разумный выбор.

– Вот как! Ты называешь разумным выбором, когда восемнадцатилетняя девушка выходит замуж за человека, который годится ей в отцы? Впрочем, что ж, она ведь стала дворянкой, превосходительством и играет первую роль в обществе как супруга прусского посланника! Мне эта прелестная, холодная Адельгейда с ее «разумными» взглядами, которые сделали бы честь какой-нибудь древней старухе, в высшей степени несимпатична. Мне гораздо больше по сердцу «неразумная» девушка, которая влюбляется по уши и объявляет родителям: или за него, или ни за кого!

– Прекрасные рассуждения для отца семейства! – возмутилась Регина. – Счастье, что Тони пошла в мою сестру, а не в тебя, иначе ты, пожалуй, дождался бы такой сцены от собственного отпрыска. Нет, Штальберг лучше воспитал свою дочь; я знаю от него самого, что, выходя за Герберта, она руководствовалась прежде всего желанием отца. И это вполне в порядке вещей, так и должно быть. Но ты ничего не смыслишь в воспитании детей.

– Как! Я, муж и отец, ничего не смыслю в воспитании? – закричал лесничий, покраснев от гнева.

Они были готовы уже опять сцепиться, но, к счастью, им помешали; на террасу вошла девушка, дочь хозяина.

Антонию фон Шонау, строго говоря, нельзя было назвать красивой, но у нее была стройная фигура отца и свежее, цветущее лицо с ясными карими глазами. Ее темные волосы были просто заплетены в косы и обвиты вокруг головы, а платье поражало простотой. Впрочем, Антония была в таком возрасте, когда молодость сама по себе прекрасна, а потому, когда она вошла на террасу, свежая, здоровая, сильная и телом и духом, то показалась Регине такой подходящей женой для ее Вилли, что она тотчас перестала спорить и ласково кивнула ей головой.

– Отец, экипаж возвращается со станции, – сказала девушка каким-то спокойным, даже тягучим голосом. – Он уже под горой, через четверть часа дядя Вальмоден будет здесь.

– Черт возьми, как же они быстро ехали! – воскликнул лесничий, физиономия которого при этом известии тоже прояснилась. – Комнаты готовы?

Тони кивнула головой так равнодушно, точно это само собой разумелось.

В то время как ее отец поспешил к дверям, чтобы идти встречать экипаж, Регина спросила, бросая взгляд на корзинку, которую девушка держала в руке:

– Я вижу, ты опять не теряла времени даром, Тони!

– Я была в фруктовом саду, милая тетя. Садовник уверял, будто груши еще не спели; я пошла сама посмотреть, и вот набрала целую корзину.

– Прекрасно, дитя мое! Хозяйский глаз и хозяйские руки везде нужны, никогда не следует полагаться на прислугу. Из тебя выйдет прекрасная хозяйка! Однако пойдем тоже вниз встречать дядю.

Шонау уже спускался по широкой лестнице, ведущей во двор. В это время, из дверей флигеля вышел какой-то человек; увидев лесничего, он остановился и почтительно снял шляпу.

– А! Штадингер! Что вам понадобилось в Фюрстенштейне? – крикнул ему лесничий. – Идите же сюда!

Штадингер подошел. Он был седой как лунь, но шел бодро и держался прямо, а его черные глаза на темном грубом лице смотрели зорко.

– Я был у кастеляна, – ответил он, – приходил просить его выделить мне несколько рабочих на помощь, потому что у нас в Родеке теперь все вверх дном и рук не хватает.

– Ах, да, ведь принц Эгон вернулся из путешествия по Востоку. Слышал, слышал! – сказал Шонау. – Но что это ему вздумалось поселиться в Родеке, этом маленьком лесном гнезде, в котором такая теснота и нет никаких удобств?

– Это одному Богу известно! У нашего молодого принца никогда не следует спрашивать о причине его поступков. Внезапно была получена весть, что он едет, и мы впопыхах бросились приводить замок в должный вид. Чего мне стоило сделать все за два дня!

– Воображаю! Ведь Родек уже сколько лет стоит пустой. Но таким образом старое здание опять хоть немножко оживится.

– Да, только при этом его перевернут вверх дном, – проворчал управляющий. – Если бы вы видели, что у нас делается! Охотничий зал битком набит львиными и тигровыми шкурами, чучелами всяких зверей, а живые обезьяны и попугаи сидят во всех комнатах. Обезьяны корчат рожи, а гам стоит такой, что иной раз собственного голоса не слышишь. А сегодня принц объявил мне, что к нам везут еще целое стадо слонов и большую водяную змею. Я думал, что меня хватит удар, и отбояривался и руками, и ногами. «Ваша светлость, – сказал я, – нам больше некуда девать всех этих зверей, особенно же водяную змею, потому что ведь такой твари нужна вода, а у нас в Родеке даже пруда нет. Что же касается слонов, то нам придется разве привязать их к деревьям в лесу, другого выхода я не вижу». «Хорошо, – сказал принц, – привяжем их к деревьям, это будет иметь очень живописный вид, а водяную змею отдадим пока в пансион, в Фюрстенштейн, замковый пруд достаточно велик». Как вам это нравится? Он хочет все окрестности заселить чудовищами!

Лесничий громко расхохотался и хлопнул по плечу старика, видимо, пользовавшегося его особой симпатией.

– Неужели вы в самом деле поверили, Штадингер? Разве вы не знаете своего принца? Очевидно, он возвращается таким же ветрогоном, каким уехал.

– Да, совершенно таким же! – вздохнул Штадингер. – А чего не придет в голову его светлости, то придумает господин Роянов. Этот еще в десять раз хуже. И надо же было такому сумасброду свалиться нам на голову!

– Роянов? Это кто такой? – спросил Шонау.

– Собственно говоря, никто точно не знает, кто он, но у нас он – все, потому что его светлость жить без него не может. Он подобрал этого «друга» где-то там, в языческих странах; да, наверно, господин Роянов и сам полуязычник или турок, по крайней мере, похож своим смуглым лицом и черными, жгучими глазами. А уж командовать он мастер и гоняет прислугу так, что та с ног сбивается, исполняя его приказания; он держит себя в Родеке как хозяин. Но зато красив, как картина, почти красивее нашего принца, и принц отдал строжайшее приказание во всем повиноваться его другу, как ему самому.

– Очевидно, какой-нибудь проходимец, обирающий молодого принца! – пробормотал Шонау, а вслух прибавил: – Ну, помогай вам Бог, Штадингер! Я иду встречать своего шурина. А что касается водяной змеи, то не волнуйтесь из-за нее и, если принц опять станет грозить вам ею, скажите, что я с удовольствием приму ее в фюрстенштейнский пруд, только пусть сначала покажет ее мне живьем.

Он смеясь кивнул головой старику и пошел к воротам. Между тем подошла и Регина Эшенгаген с племянницей, а потом на широкой лесной дороге показался экипаж и через несколько минут въехал во двор замка.

Регина первая бросилась здороваться. Она так сердечно сжала и тряхнула руку брата, что тот, слегка вздрогнув, поспешил отнять ее. Лесничий был сдержаннее; он несколько робел перед своим шурином-дипломатом и втайне боялся его сарказма. Что касается Тони, то ни высокопоставленный дядюшка, ни его супруга не могли вывести ее из состояния равнодушия.

Для Герберта Вальмодена годы прошли не так бесследно, как для его сестры; он сильно постарел, его волосы стали совершенно седыми, а саркастическая складка в уголках тонких губ углубилась. В остальном это был прежний холодный, корректный дипломат, разве, пожалуй, с возрастом стал еще холоднее и сдержаннее, чем раньше. Казалось, будто, достигнув высокого положения, он удвоил осторожность, с которой относился ко всему окружающему.

Незнакомый Человек принял бы молодую женщину, сидевшую рядом с посланником, за его дочь. Нельзя было не признаться, что он проявил большой вкус, выбрав Адельгейду. Она была, действительно, красива, однако той серьезной, холодной красотой, которая обычно возбуждает в окружающих лишь такое же холодное удивление; но зато Адельгейда оказалась вполне подходящей во всех отношениях партией для общественного положения, в котором очутилась благодаря замужеству. Ей недавно исполнилось девятнадцать лет, и она всего шесть месяцев была замужем, но, тем не менее, проявляла такую уверенность в поведении и самообладании, как будто полвека провела возле своего престарелого супруга.

Вальмоден по отношению к своей молодой жене был олицетворением вежливости и внимания. Он предложил ей руку, чтобы отвести в ее комнату, сам же через несколько минут вернулся к сестре, которая ждала его на террасе.

Отношения между братом и сестрой отличались большой оригинальностью. Герберт и Регина по натуре были совершенно разными и всегда и во всем придерживались противоположного мнения, но кровное родство все-таки сказывалось в горячей привязанности, которую они чувствовали друг к другу. Это ясно проявлялось теперь, когда они встретились после долгой разлуки.

Правда, Герберт немного нервничал во время разговора, потому что Регина не считала нужным смягчать свои грубые манеры и то и дело ставила его в затруднительное положение своими бесцеремонными вопросами и замечаниями. Но он давно привык принимать это как нечто неизбежное, а потому и теперь со вздохом покорился.

Сначала разговор шел о предстоящей помолвке Виллибальда с Тони, и Вальмоден вполне одобрил ее. Потом Регина перешла к другой теме.

– Ну, как же ты чувствуешь себя женатым человеком, Герберт? – спросила она. – Правда, ты порядком запоздал с женитьбой, но лучше поздно, чем никогда, и, надо сказать правду, тебе с твоими седыми волосами чертовски повезло.

Намек на его годы был, очевидно, очень неприятен посланнику, и он ответил несколько резко:

– Не мешало бы быть немножко тактичнее в своих выражениях, милая Регина! Я сам прекрасно знаю, сколько мне лет, но уважение и почет, окружающие жену благодаря мне, в какой-то мере вознаграждают ее за разницу в возрасте.

– Ну, мне кажется, приданое, которое она принесла тебе, тоже чего-нибудь да стоит, – заметила Регина. – Ты уже представил жену во дворе?

– Только две недели тому назад, в летней резиденции герцога. Траур по тестю до сих пор не позволял нам выезжать, но зимой мы будем жить открыто, как этого требует мое положение. Я был в высшей степени приятно поражен тем, как Адельгейда держала себя при дворе. Она вела себя в этой совершенно незнакомой ей обстановке так уверенно и спокойно, что это достойно удивления. Я еще раз убедился, как удачен мой выбор. Но мне хотелось бы узнать от тебя, что здесь нового. Прежде всего, как поживает Фалькенрид?

– Ну, об этом ты, кажется, ничего интересного от меня не узнаешь, вы ведь с ним переписываетесь.

– Да, но его письма становятся все короче. Я подробно писал ему о своей женитьбе, а в ответ получил лишь лаконичное поздравление. Вероятно, ты часто видишь его с тех пор, как он служит в военном министерстве, ведь город близко.

Веселое лицо Регины омрачилось; она слегка покачала головой.

– Ты ошибаешься: полковник почти не показывается в Бургдорфе. Он становится все холоднее и неприступнее.

– К сожалению, я это знаю. Но ты всегда была для него исключением, и я надеялся на твое влияние, с тех пор как он опять живет неподалеку от вас. Неужели ты не пробовала возобновить старые отношения?

– Вначале пробовала, но потом оставила все попытки, потому что увидела, что это ему в тягость. Тут ничего не поделаешь, Герберт! Со времени той катастрофы, которую мы пережили вместе с ним, он превратился в камень. Ты несколько раз видел его и знаешь, что в нем все умерло.

– Да, этот мальчишка Гартмут ответит за него перед Богом. Но с тех пор прошло уже десять лет, и я надеялся, что Фалькенрид мало-помалу вернется к жизни.

– Я никогда не надеялась на это, – серьезно сказала Регина. – Эта история подкосила его. Никогда в жизни я не забуду того несчастного вечера в Бургсдорфе, когда мы ждали и ждали, сначала с тревогой, а потом со страхом. Ты сразу же понял, что произошло, но я не хотела допускать такой мысли, а уж о Фалькенриде и говорить нечего. Я будто сейчас вижу, как он стоит у окна, глядя в темноту, бледный, со стиснутыми зубами, а на все наши догадки и опасения отвечает только: «Он придет! Он должен прийти! Он дал мне слово!». А когда Гартмут все-таки не пришел, когда наступила ночь и мы наконец узнали на станции, что они сели в курьерский поезд и уехали, Боже мой, какое лицо было у Фалькенрида, когда он молча, точно окаменелый, повернулся к двери! Я тогда дала себе слово не отходить от него, потому что боялась, что он пустит себе пулю в лоб.

– Плохо же ты знаешь его! – уверенно сказал Вальмоден. – Фалькенрид считает трусостью наложить на себя руки даже в том случае, когда жизнь становится для него пыткой; он не покинет своего поста, даже потеряв надежду отстоять его. Но что было бы, если бы ему дали тогда выйти в отставку, не берусь судить.

– Я знаю, он подал в отставку потому, что, по его понятиям о чести, не мог продолжать служить после того, как его сын стал дезертиром. Это был шаг, продиктованный отчаянием.

– Конечно. Счастье, что начальство не захотело лишиться такого опытного работника. Начальник генерального штаба лично взялся за это дело и доложил о нем королю; в конце концов было решено отнестись к этому неприятному происшествию как к глупой мальчишеской выходке, жертвой которой мог стать такой заслуженный офицер, как Фалькенрид. Его заставили взять назад прошение об отставке, перевели в отдаленный гарнизон и по возможности замяли дело. Теперь, через десять лет, оно в самом деле всеми забыто.

– Кроме одного человека, – прибавила Регина. – У меня сердце обливается кровью, когда я вспоминаю, кем был когда-то Фалькенрид и кем стал теперь. Конечно, горький опыт, приобретенный им в семейной жизни, сделал его серьезным и необщительным, но все-таки присутствующая ему теплота и сердечность иногда брали верх, и он становился прежним милым, добрым человеком. Теперь ничего этого нет; он знает только холодное, непоколебимое чувство долга, все же остальное в нем умерло и похоронено. Даже старые дружеские отношения ему в тягость. Нужно оставить его в покое. – Она вздохнула и, положив руку на плечо брата, закончила: – Пожалуй, ты прав, говоря, что в более зрелом возрасте человек разумнее подходит к выбору жены. Тебе нечего бояться судьбы Фалькенрида, у тебя хорошая жена. Я знавала Штальберга, он пробился в жизни единственно своим умом и трудолюбием и, превратившись в миллионера, все-таки остался честным человеком; Адельгейда же – дочь своего отца. Ты в полной безопасности, и я от души рада твоему счастью.

7

Маленький охотничий замок Родек, принадлежавший принцу Адельсбергу, находился в двух часах езды от Фюрстенштейна, в глубине леса. Небольшое здание состояло из дюжины комнат, обветшалое убранство которых было теперь наскоро приведено в порядок. Замок уже много лет пустовал и имел довольно заброшенный вид, но стоило выйти из-под темных сосен на освещенную солнцем лужайку и издали посмотреть на старое серое здание с высокой остроконечной черепичной крышей и четырьмя башенками по углам – и заброшенный замок казался сказочным теремком в лесной глуши.

Адельсберги были когда-то богатым княжеским родом; они давно потеряли права на наследство, но сохранили княжеский титул, громадные богатства и обширные поместья. Когда-то многочисленный род имел в настоящее время лишь немногих представителей, а главная ветвь – всего одного, принца Эгона, который, в качестве владельца всех родовых поместий и как близкий родственник герцогского дома по матери, пользовался большим авторитетом среди аристократии страны.

Молодой принц слыл сорванцом; он всегда следовал своим наклонностям, часто весьма эксцентричным, и очень мало заботился о княжеском этикете, когда дело касалось его очередной фантазии. Правда, отец держал его в ежовых рукавицах, но смерть старого князя очень рано дала возможность Эгону делать все на свое усмотрение.

Молодой князь только что возвратился из путешествия по Востоку, где провел почти два года, и, вместо того, чтобы поселиться в княжеском дворце в столице или в одном из своих замков, отделанных с большим вкусом, изяществом и удобствами для пребывания в них летом и осенью, вздумал посетить маленький полузабытый Родек, который вовсе не был подготовлен к приему хозяина. Старик Штадингер был прав: никогда не следовало спрашивать принца о причинах его поступков, у него все зависело от сиюминутного каприза.

Было солнечное утро осеннего дня. На лужайке стояли два господина в охотничьих костюмах и разговаривали со Штадингером; в стороне, на усыпанной песком дороге, ожидал готовый к отъезду легкий открытый экипаж.

Молодые люди с первого взгляда казались похожими друг на друга. Оба были высокого роста, стройные, сильно загорелые, с веселыми глазами; но, присмотревшись, можно было убедиться, что они совершенно разные. У младшего, которому могло быть около двадцати четырех лет, этот южный цвет лица был только следствием продолжительного пребывания в жарких странах, потому что выющиеся белокурые волосы и голубые глаза обличали в нем немца. Белокурая борода обрамляла открытое лицо, которое, впрочем, нельзя было назвать классическим: лоб был несколько низок, черты – недостаточно правильны; но в этом лице было что-то, что действовало как солнечный свет и подкупало всякого, кто его видел. В лице его товарища не было и следа этого солнечного света, но оно чем-то к себе притягивало. Он был так же строен, как и младший, но выше его, а его кожа была смуглой не только от одного загара. Это была та матовая смуглость, благодаря которой даже цветущие жизнью лица кажутся бледными, а иссиня-черные волосы, падавшие на лоб, еще резче подчеркивали эту кажущуюся бледность. Это лицо с благородными, гордыми, твердыми и энергичными чертами было прекрасно, но под глазами были такие темные круги, какие редко встречаются в таком молодом возрасте. В больших темных глазах было что-то мрачное, говорившее о пылкой, необузданной страстности; в них сверкал огонь, в одно и то же время и отталкивающий и странно притягивающий. Они точно опутывали человека какой-то демонической силой, и вообще во всем облике молодого человека было что-то, жутко влекущее к себе.

– Ничем не могу помочь тебе, Штадингер, – сказал младший. – Присланные вещи должны быть распакованы и помещены, а куда – это твое дело.

– Но, ваша светлость, это абсолютно невозможно! – возразил управляющий. – В Родеке нет больше ни одного свободного уголка. Немалого труда мне стоило разместить прислугу, а теперь, что ни день, приходят новые и новые ящики, и я только и слышу: «Распаковывай, Штадингер! Ищи место, Штадингер!». А в это время в других замках целые дюжины комнат стоят пустыми...

– Не ворчи, старый леший, а ищи место! – перебил его молодой принц. – Присланные вещи останутся в Родеке, по крайней мере, пока. В крайнем случае ты уступишь собственную квартиру.

– Конечно, в квартире Штадингера достаточно места, – вмешался второй. – Я сам все вымеряю и распределяю.

– Ему может помочь Ценца, – поддержал принц предложение товарища. – Она ведь дома? Штадингер смерил спрашивающего взглядом с ног до головы и сухо ответил:

– Нет, ваша светлость, Ценца уехала в город.

– Как же так? Ты ведь хотел, чтобы внучка всю зиму провела в Родеке.

– Я передумал. Дома только моя сестра, старая Рези. Если вам будет угодно воспользоваться ее помощью, господин Роянов, то она сочтет это для себя большой честью.

Роянов бросил на старика недружелюбный взгляд, принц же ворчливо сказал:

– Послушай, Штадингер, ты поступаешь с нами непростительно! Теперь ты отослал даже Ценцу, единственное, на что еще стоило поглядеть; всем женщинам в Родеке перевалило за шестьдесят и они трясут головами, а кухарки, которых ты взял на помощь из Фюрстенштейна, просто оскорбляют все наши понятия о красоте.

– Вашей светлости нет никакой надобности смотреть на них, – возразил Штадингер. – Я позаботился, чтобы они не являлись в замок, но ваша светлость сами изволите заходить на кухню...

– Должен же я время от времени присматривать за прислугой! Впрочем, во второй раз я не пойду на кухню, об этом ты позаботился. Я подозреваю, что ты собрал здесь в честь моего прибытия всех уродов, каких только нашел в бору. И не стыдно тебе, Штадингер?

Старик пристально посмотрел в глаза своему господину и вы: разительно ответил:

– Я нисколько не стыжусь, ваша светлость! Покойный князь, ваш батюшка, отправляя меня сюда на покой, сказал: «Смотри за порядком в Родеке, Штадингер! Я полагаюсь на тебя». Ну, я и смотрел за порядком и в замке, и в своем доме в течение двенадцати лет и буду смотреть за ним и впредь. Не прикажете ли еще чего, ваша светлость?

– Нет, старый грубиян! – воскликнул молодой принц не то смеясь, не то сердито. – Убирайся! Мы не нуждаемся в твоих нравоучениях!

Штадингер поклонился и зашагал прочь. Глядя ему вслед, Роянов насмешливо пожал плечами.

– Удивляюсь твоему терпению, Эгон! Ты чересчур много позволяешь этому человеку.

– Штадингер – исключение, – сказал Эгон. – Он может позволить себе все, и, в сущности, он не так уж неправ, удалив Ценцу. Я думаю, что на его месте и сам сделал бы то же.

– Но ведь этот старик уже не впервые принимается буквально наставлять тебя на путь истинный. Если бы его господином был я, он сию же минуту получил бы отставку.

– Плохо пришлось бы мне, если бы я попробовал дать ему отставку! – засмеялся принц. – Эдакое наследственное старье, которое служит уже третьему поколению и носило тебя в детстве на руках, требует, чтобы с ним обращались почтительно. Мои приказания и запрещения ничего не дадут, Штадингер всегда сделает все так, как ему угодно, да еще прочтет мне нотацию, если ему заблагорассудится.

– Потому что ты это разрешаешь. Я совершенно не понимаю этого.

– Ты и не можешь понимать этого, Гартмут, – Эгон стал серьезным. – Ты знаешь только рабскую угодливость слуг в твоём отечестве и на Востоке. Там слуга кланяется при каждом

удобном случае и обкрадывает своего господина, где только может. Штадингер – грубиян каких мало, частенько говорит мне в лицо самые неприятные вещи, но я могу поручить ему сотни тысяч, и ни один пфенниг из них не пропадет, а если Родек будет охвачен пламенем, а я буду в доме, то старик, несмотря на свои семьдесят лет, не задумываясь бросится в огонь спасать меня. У нас в Германии это иначе, чем у вас.

– Да, у вас в Германии! – медленно повторил Гартмут, и его глаза мечтательно устремились в чашу леса.

– Неужели ты все еще так ее не приемлешь? – спросил Эгон. – Сколько мне пришлось просить, чтобы ты поехал со мной, – ты не хотел даже ступить на немецкую землю.

– О, как бы мне хотелось не ступить на нее! – мрачно проговорил Роянов. – Ты знаешь...

– Что с ней связаны для тебя горькие воспоминания? Да, ты говорил мне. Но тогда ты был, вероятно, еще ребенком; неужели старый гнев в тебе еще не улегся? Вообще все, что касается этой истории, ты так упорно скрываешь, что я до сих пор не знаю, что именно...

– Эгон, прошу тебя, оставь! – резко оборвал его Гартмут. – Я раз и навсегда объяснил тебе, что не могу и не хочу отвечать тебе на этот вопрос. Если ты не доверяешь мне, отпусти меня, но этих расспросов и выпытываний я не потерплю.

Эгон только пожал плечами и сказал примирительно:

– Какой ты стал опять раздражительный! Мне кажется, ты прав, утверждая, будто воздух Германии расстраивает тебе нервы; ты совсем другой с тех пор, как приехал сюда.

– Очень может быть! Я сам чувствую, что мучу и тебя, и себя своим настроением, а потому отпусти меня!

– И не подумаю! Неужели я для того с таким трудом заманил тебя сюда, чтобы дать тебе опять улететь? Не проси, Гартмут, я ни за что не отпущу тебя.

– А если я захочу уехать?

– То я удержу тебя вот так, – Эгон невыразимо милым движением обхватил рукой плечи друга, – и спрошу: неужели у гадкого, упрямого Гартмута хватит духу бросить меня одного! Мы почти два года прожили вместе как братья, делили опасности и удовольствия, и вдруг теперь ты хочешь опять пуститься в путь без меня? Неужели я так мало для тебя значу?

В словах принца звучала такая искренняя просьба, что гнев Роянова тут же рассеялся. По его глазам было видно, что он с не меньшей теплотой отвечал на страстную привязанность к нему молодого принца, хотя в их взаимоотношениях всегда задавал тон.

– Ты думаешь, я поехал бы в Германию в угоду кому-нибудь другому? – тихо спросил он. – Прости, Эгон! Уж такая у меня непостоянная натура, я не могу долго выдержать на одном месте... с самого детства.

– Так научись постоянству здесь, на моей родине. Я, собственно, для того приехал в Родек, чтобы показать тебе его во всей красе. Это старинное здание, притаившееся среди дремучего леса, точно сказочный замок, полно поэзии, которой ты не найдешь ни в одном из остальных моих замков. Я знаю твой вкус. Однако мне пора отправляться! Ты так-таки и не поедешь со мной в Фюрстенштейн?

– Нет, я буду наслаждаться твоей хваленой поэзией, которая, очевидно, успела уже надоеть тебе, потому что ты собираешься наносить визиты.

– Да, я не поэт, как ты, и не в состоянии мечтать целыми днями, – смеясь возразил Эгон. – Мы целую неделю вели жизнь настоящих отшельников, а мне нужно общество. Лесничий Шонау – почти единственный наш сосед и притом прекраснейший человек и веселый мальчик.

Принц знаком подозвал ожидавший его экипаж, пожал руку товарищу и уехал. Роянов некоторое время смотрел ему вслед, а потом повернулся и пошел по одной из дорог, ведущих в лес.

За плечами у него было ружье, но он и не помышлял об охоте, а шел, погруженный в думы, все дальше и дальше без всякой цели, не глядя, куда идет.

Принц Адельсберг был прав: он знал привычки своего друга. Гартмутом овладели чары поэзии леса. Наконец он остановился и прислонился к одному из деревьев, но тень, омрачавшая его лицо, не исчезла. В его прекрасных чертах было что-то беспокойное, безотрадное, и вся красота окружающей природы была не в состоянии изменить это выражение.

Гартмут видел эти места впервые. Его родина была далеко отсюда, в северной Германии, здесь ничто не напоминало ему о прошлом; и все-таки именно здесь в нем проснулось чувство, давно, казалось, умершее в его душе, молчавшее все те годы, когда он странствовал по суше и морям, когда волны жизни вздымались вокруг него, и он жадно, полными глотками пил из чаши свободы, ради которой пожертвовал всем.

Старый немецкий лес! Он шелестел здесь, на юге, совершенно так же, как там, на севере; по этим елям и дубам пробегало то же дыхание ветра и шептало в вершинах сосен; это был тот же голос, который был когда-то хорошо знаком мальчику, лежавшему в лесу на его мшистом ковре. С тех пор он слышал много других голосов: манящих, ласкающих, опьяняющих и воодушевляющих, но этот голос звучал для него удивительно приятно – это со своим блудным сыном говорила родина.

Вдруг в кустах что-то зашуршало. Гартмут равнодушно оглянулся в ту сторону, думая, что там пробежала какая-то дичь, но вместо дичи сквозь ветви увидел светлое платье; по узкой тропинке ему навстречу шла дама. Она остановилась, очевидно, не уверенная, что идет по той дороге, по какой следует. Роянов вздрогнул. Эта неожиданная встреча вывела его из мечтательного настроения. Незнакомка также заметила его и казалась также удивленной; но она смутилась лишь на мгновение, затем подошла ближе и сказала с легким поклоном:

– Не можете ли вы показать мне дорогу в Фюрстенштейн? Я не местная и заблудилась во время прогулки. Боюсь, что я сильно отклонилась в сторону.

Гартмут быстрым взглядом окинул даму и сразу решил предложить ей себя в проводники. Правда, он мог лишь приблизительно сообразить, в каком направлении находился замок, но это очень мало его смущало. Он с изысканной вежливостью поклонился.

– Я к вашим услугам. До Фюрстенштейна, действительно, довольно далеко, и вы никак не найдете дороги одна, а потому я должен просить вас взять меня в проводники.

Дама, очевидно, рассчитывала, что ей просто покажут дорогу, и предложение проводить ее было не совсем ей по вкусу, но, с одной стороны, она, вероятно, боялась снова заблудиться, а с другой – безупречная вежливость, с которой было сделано предложение, не оставляли ей выбора. После минутного колебания она слегка наклонила голову и ответила:

– Я буду вам очень благодарна. Пойдемте.

Роянов плотнее подтянул ремень своего ружья, указал на узкую тропинку, приблизительно державшуюся направления, в котором находился Фюрстенштейн, и пошел по ней, решив оправдать свою репутацию проводника, потому что приключение показалось ему романтическим.

Особа, доверившаяся его покровительству, была очень хороша собой. Нежный овал лица, высокий лоб, обрамленный белокурыми волосами, черты лица – все отличалось идеальной правильностью; но в строгих пропорциях этого лица было что-то ледяное, а ярко выраженные энергия и сила воли не только не смягчали этого впечатления, но еще увеличивали его. Этой даме могло быть, самое большее, лет восемнадцать-девятнадцать, но в ней не было и капли той несказанной прелести, которая обычно свойственна этому юному возрасту, ни следа веселости и непринужденности, придающих очарование молодому существу, не тронутому жизнью с ее проблемами, и делающих его похожим на цветок, только что раскрывающийся навстречу солнцу. Ее большие голубые глаза смотрели так холодно и серьезно, точно вовсе не были зна-

комы с девичьими мечтами, и той же гордой, холодной серьезностью были проникнуты все ее манеры, свидетельствовавшие о том, что незнакомка принадлежала к высшему кругу общества.

Роянов имел достаточно времени рассмотреть ее, пока шел то впереди, то позади нее, отклоняя в сторону низко нависшие ветви и предупреждая о неровностях почвы. Узкую лесную тропинку нельзя было назвать удобной. Платье незнакомки не раз цеплялось за колючий кустарник, вуаль ее шляпы то и дело повисала на ветвях, а мшистая почва была очень сырой, и местами было просто грязно; но дама переносила все это с полнейшим равнодушием, что не мешало Гартмуту чувствовать, что он не особенно блистательно выполняет принятую на себя роль проводника.

– Мне очень жаль, что приходится вести вас по такой неудобной дороге, – любезно начал он. – Боюсь, что вы устанете. Но мы в лесу, и выбора нет.

– Я не так легко устаю, – последовал спокойный ответ, – и вообще мало забочусь об удобствах дороги, лишь бы она вела к цели.

Эти слова в устах девушки звучали как-то странно. Роянов, немного насмешливо улыбувшись, повторил:

– Лишь бы она вела к цели! Совершенно справедливое замечание, я и сам того же мнения. Но дамы обычно думают иначе, они, как правило, хотят, чтобы их вели в обход или же осторожно переносили через препятствия.

– Неужели? Есть женщины, которые предпочитают идти одни и не позволяют вести себя, как ребенка.

– Это уже исключение. Я очень благодарен случаю, доставившему мне удовольствие встретить такое восхитительное исключение...

Гартмут собирался сказать весьма смелый комплимент, но вдруг замолчал, потому что голубые глаза посмотрели на него с такой строгостью, что слова застряли у него в горле.

В эту минуту вуаль снова зацепилась за колючую ветку. Дама остановилась, но не успел ее спутник протянуть руку, чтобы отцепить нежную ткань, как она быстрым движением головы освободилась сама; куски вуали повисли на кусте, но зато посторонняя помощь оказалась совершенно излишней.

Роянов прикусил губу: дело принимало совсем другой оборот, чем он ожидал. Он собирался смело разыграть роль любезного кавалера, и вдруг при первой же попытке начать любезничать его поставили на место одним взглядом! Ему весьма ясно показали, что он должен быть только проводником и никем больше. Кто была эта девушка, которая в восемнадцать или девятнадцать лет уже держала себя с уверенностью великосветской дамы и умела быть недосягаемой? Он решил во что бы то ни стало выяснить этот вопрос.

Они вышли на прогалину, по другую сторону которой снова начинался лес. Нелегко было найти здесь дорогу человеку, мало знакомому с местом, но теперь Гартмут уже окончательно не мог признаться в своем неведении. Он уверенно придерживался прежнего направления и выбрал одну из дорог, по которой через лес возили дрова. Должны же они были когда-нибудь выбраться на такое место, с которого будут видны окрестности, и они смогут сориентироваться.

Более широкая дорога теперь позволяла Гартмуту спокойно идти рядом, и он сразу воспользовался этим, чтобы завязать разговор, до сих пор немислимый на узкой тропинке.

– Я еще не имел чести представиться вам, – начал он. – Моя фамилия Роянов, а в Родек я приглашен к принцу Адельсбергу, который имеет счастье быть вашим соседом. Ведь вы живете в Фюрстенштейне?

– Нет, я тоже здесь только в гостях, – ответила молодая дама.

По-видимому, она осталась равнодушна как к соседству принца, так и к имени своего спутника; во всяком случае она не нашла нужным назвать свое имя и ответила на представление Гартмута гордым аристократическим кивком головы, что было, очевидно, ее обычной манерой поведения.

– А, так вы, вероятно, живете в столице и воспользовались прекрасной осенней погодой для того, чтобы прокатиться?

– Да.

Этот лаконичный ответ не поощрял к дальнейшему разговору, но Роянов был не из тех, кто позволил бы себя оттолкнуть. Он привык всюду производить впечатление, особенно на женщин, и чувствовал себя почти оскорбленным тем, что в данном случае это не удалось. Но именно это и подстрекало его вызвать свою спутницу на разговор, который ее явно не интересовал.

– Как вам нравится Фюрстенштейн? – продолжал он. – Я видел замок только издали, но он единственный во всей окрестности. Впрочем, надо иметь особый вкус, чтобы находить подобный ландшафт красивым.

– А у вас, кажется, другое мнение?

– По крайней мере, я не люблю однообразия, а здесь, куда ни взглянешь, всюду одно и то же: лес и лес, ничего кроме леса; иной раз приходишь в отчаяние.

В тоне Гартмута слышался сдержанный гнев. Бедный немецкий лес был виноват в том, что он мучил вернувшегося беглеца своим шорохом и шелестом, так что тот уже не раз готов был снова обратиться в бегство. Он был не в состоянии выносить эту серьезную, монотонную мелодию далекого прошлого, которую напевали ему вершины деревьев. Но его спутница услышала в его замечании только насмешку.

– Вы иностранец? – спокойно спросила она.

По лицу Гартмута опять пробежала мрачная тень, и он холодно ответил:

– Да!

– Я так и думала, судя по вашей фамилии и внешности. В таком случае ваше суждение понятно.

– По крайней мере, это откровенное суждение, – сказал Гартмут, рассерженный упреком, который почувствовал в последних словах. – Я немало повидал на свете и только что вернулся с Востока. Кто знает океан с его лучистой, прозрачной синевой, с его грандиозными бурями, кто наслаждался роскошью тропического мира и упивался яркостью его красок и игрой света, тому эти вечнозеленые чащи лесов, все эти немецкие ландшафты вообще покажутся только холодными и бесцветными.

Снисходительное пожатие плеч говорившего, казалось, вывело его спутницу из хладнокровного спокойствия; по ее лицу пробежало выражение недовольства, и она с волнением ответила:

– Это дело вкуса. Я не видела Востока, но все же знаю хоть южную Европу. Эти пронизанные солнцем, блестящие красками ландшафты вначале опьяняют, но потом утомляют; им недостает свежести, силы. В такой обстановке можно наслаждаться и мечтать, но нельзя жить и работать. Впрочем, к чему спорить? Вы не понимаете нашего немецкого леса.

Гартмут улыбнулся с несомненным чувством удовлетворения – ему удалось-таки проломить лед сдержанности своей спутницы. Вся его любезность скользнула по броне ее равнодушия, не произведя никакого действия; теперь же он видел, что существует хоть что-нибудь, что может заставить оживиться эти прекрасные, холодные черты, и находил особенное наслаждение в том, чтобы вызывать это оживление. Ему было безразлично, что он рисковал оскорбить ее при этом; это доставляло ему удовольствие.

– Это звучит упреком, но, к сожалению, я должен принять его, – сказал он, не скрывая насмешки в голосе. – Может быть, я, действительно, не понимаю вашего леса: я привык подходить и к природе, и к людям с другой меркой. Жить и работать? Это зависит от того, что подразумевать под этими словами. Я несколько лет жил в Париже, этом ослепительном центре цивилизации, где жизнь переливается тысячами потоков. Кто привык плыть по таким бурным волнам, тот уже не может примириться с узкими, мелочными рамками существования, со

всеми предрассудками, со всем педантизмом и филистерством, которые здесь, в этой честной Германии, называются жизнью.

В презрительном выражении, которое Гартмут придал последним словам, было что-то вызывающее, и он достиг цели. Незнакомка вдруг остановилась и смерила его взглядом с головы до ног. В ее глазах блеснула молния гнева. Казалось, горячее возражение готово было сорваться с ее языка, но она сдержалась и ответила с ледяной гордостью:

– Вы забываете, что говорите с немкой. Позвольте напомнить вам об этом.

Услышав это резкое замечание, Гартмут покраснел, хотя оно относилось лишь к чужестранцу, забывшему деликатность, обязательную для гостя. Жгучий стыд вдруг охватил Гартмута, но он был настолько светским человеком, что тотчас овладел собой и проговорил с легким полунасмешливым поклоном:

– Прошу извинить меня. Я полагал, что мы только обмениваемся общими взглядами, и каждая сторона сохраняет за собой право свободно излагать свое мнение. Крайне сожалею, если оскорбил вас.

Гордое и презрительное движение головы собеседницы показало ему, что он не в состоянии оскорбить ее; она чуть заметно пожала плечами.

– Я не имею ни малейшего намерения повлиять на ваше мнение, но наши точки зрения в этом вопросе так различны, что мы в любом случае сделаем лучше, если прекратим этот разговор.

Гартмуту тоже не хотелось продолжать его. Теперь он знал, что эти холодные голубые глаза могут загореться; он хотел этого и добился своего, но дело кончилось иначе, чем он думал. Он искоса бросил почти враждебный взгляд на стройную фигуру шедшей с ним рядом девушки, потом его глаза сердито устремились в зеленую чащу леса, который он только что так горько высмеивал.

Тишина леса, тронутого первым дыханием осени, удивительно успокаивала. Там и сям среди зелени мелькали золотистые и красные листья, но сам лес был еще свежим и душистым. Под сенью вековых деревьев стояла глубокая, прохладная тень; местами вдруг открывалась лужайка, вся залитая золотыми лучами солнца, в которых сверкали и переливались яркими красками полевые цветы, еще попадавшие здесь на открытых местах; кое-где вдали блестела поверхность тихого маленького озерка, одиноко затерявшегося среди дремучего леса. Тишина нарушалась едва слышным шорохом могучих вершин деревьев да жужжанием насекомых. Это были те таинственные голоса, которые раздаются лишь в тиши уединения и из которых складывается сладкая, мечтательная песнь леса. Он непреодолимо притягивал, звал к себе этой песнью, этими зелеными чашами, которые расступались перед путниками все дальше и дальше, как будто были намерены навсегда удержать в своих объятиях двух людей, попавших в их царство.

Вдруг на их пути встало неожиданное препятствие. С густо поросшего лесом холма, шумя и пенясь, бежал широкий лесной ручей, весело и резво извиваясь между камнями и кустами. Роянов замедлил шаг и оглянулся; нигде не было видно мостика или хотя бы доски. Он повернулся к своей спутнице.

– Кажется, мы попали в неприятное положение – ручей совершенно преградил нам путь. Обычно через него легко перебраться по тем мшистым камням на дне, но вчерашний дождь совсем затопил их.

Его спутница тоже остановилась, ища глазами место, где можно было бы перейти.

– Нельзя ли перебраться там? – спросила она, указывая вниз по течению ручья.

– Нет, там еще глубже и вода течет быстрее, переправляться надо только здесь; вы позволите мне перенести вас?

Предложение было сделано безупречно вежливо, но глаза Роянова при этом блеснули торжеством; случай мстил за него этой недотроге, которая не хотела принять его помощь даже для того, чтобы отцепить вуаль от колючей ветки. Теперь она, безусловно, должна была при-

нять его услуги, должна была позволить ему перенести себя на руках. Он подошел к ней, как будто ее согласие само собой разумелось, но она отступила.

– Нет, благодарю вас!

Гартмут иронически улыбнулся. Теперь он был господином положения и надеялся им остаться.

– Прикажете вернуться назад? – спросил он. – Это будет, по крайней мере, часовой обход, а тут мы через несколько минут будем на другой стороне. Вы можете довериться мне без страха, переправа вовсе не опасна.

– Я тоже так думаю и потому попробую перейти сама.

– Сами? Это невозможно! Ведь ручей глубже, чем вы думаете! Вы насквозь промокнете и, кроме того... это решительно невозможно!

– Я не неженка и не так легко простуживаюсь. Пожалуйста, идите вперед, я пойду по вашим следам.

Желание было выражено так повелительно, что противоречить было бесполезно. Гартмут молча поклонился и пошел через воду, которая, конечно, не могла особенно повредить его высоким охотничьим сапогам. Ручей на самом деле был довольно глубокий и быстрый, так что даже ему трудно было удержаться на камнях; на его губах играла легкая насмешливая улыбка, когда он, стоя на противоположном берегу, ожидал свою спутницу. Он был уверен, что если она и решится попробовать перебраться самостоятельно, то быстрое течение испугает ее, она не выдержит и в конце концов позовет его на помощь, несмотря на все свое нежелание.

Она не колеблясь последовала за ним и уже стояла в воде в изящных, тонких ботинках, а между тем вода была очень холодной. Однако молодая женщина как будто не чувствовала холода; обеими руками придерживая платье, она медленно и осторожно, но совершенно уверенно продвигалась вперед, пока не дошла до середины ручья.

Однако, чтобы удержать равновесие среди журчащего, пенящегося потока, нужна была твердая мужская рука, и узкая, нежная женская ножка напрасно искала опору на скользких камнях; сильно мешали высокие каблуки, так же как и платье, подол которого уже окунулся в воду. Храбрая путешественница явно утратила прежнюю самоуверенность; она несколько раз оступилась, покачнулась, наконец остановилась и бросила беспомощный взгляд на другой берег, где стоял Роянов, твердо решивший не двигаться с места, пока она не позовет на помощь.

Вероятно, она прочла это намерение в его глазах, и это вдруг вернуло ей силы. Одно мгновение она стояла не двигаясь, но потом на ее лице появилась прежняя уверенность. С камней, которые были своего рода мостиком, она ступила на дно и очутилась по колени в воде; дно ручья оказалось гораздо более надежной опорой, и она уже без всяких препятствий дошла до берега. Здесь, вместо протянутой руки Гартмута, она схватилась за ветку дерева и выбралась на сушу.

Она сильно вымокла, вода ручьем стекала с ее платья, тем не менее она обратилась к своему спутнику с полнейшим спокойствием:

– Пойдемте дальше. Очевидно, Фюрстенштейн уже недалеко.

Гартмут не ответил; в нем закипела ненависть к этой женщине, которая предпочла скорее окунуться в холодную воду, чем довериться его рукам. Он, гордый, избалованный человек, особенно сильно чувствовал унижение, которому его подвергли, и был близок к тому, чтобы проклинать эту встречу.

Они пошли дальше. Время от времени Роянов бросал взгляд на мокрый подол платья, волочившийся по земле рядом с ним, оставляя за собой мокрый след; впрочем, его внимание было обращено главным образом на местность и лес, который, действительно, как будто начал редеть. Должна же была наконец кончиться эта чаща!

Предположение Гартмута оправдалось. Минут через десять они уже стояли на небольшой возвышенности, откуда открывался вид на окрестности. За морем леса виднелись башни

Фюрстенштейна, а к подошве замковой горы вела довольно широкая проезжая дорога, которую можно было легко проследить глазами.

– Вот и Фюрстенштейн! – сказал Гартмут. – Впрочем, до него еще с полчаса ходьбы.

– О, это уже пустяки! – быстро перебила его спутница. – Я очень благодарна вам за сопровождение, но теперь сбиться с дороги уже невозможно, и мне не хотелось бы больше утруждать вас.

– Как вам угодно! – холодно проговорил Роянов. – Если вы желаете распрощаться со своим провожатым здесь, то он не станет дольше навязывать вам свое общество.

Упрек был понятен.

– Я в самом деле чересчур долго злоупотребляла вашей любезностью, – уклончиво ответила незнакомка. – Однако, так как вы отрекомендовались мне, то и мне следует хоть на прощанье сказать свое имя... Адельгейда фон Вальмоден.

Гартмут слегка вздрогнул; на его лице вспыхнул мимолетный румянец, и он медленно повторил:

– Вальмоден?

– Эта фамилия вам знакома?

– Мю кажется, я слышал ее раньше, но это было в... северной Германии.

– Очень может быть, потому что это моя родина, а также родина моего мужа.

На лице Роянова изобразилось самое недвусмысленное изумление, когда та, кого он считал молодой девушкой, оказалась замужней женщиной; но он, учтиво поклонившись, произнес:

– В таком случае прошу извинить меня за то, что я неправильно называл вас; я не подозревал, что вы замужем. Но я не имел чести знать вашего супруга, потому что господин, о котором мне рассказывали, и тогда уже был немолод. Он был дипломатом и, если не ошибаюсь, его звали Гербертом фон Вальмодемом.

– Совершенно верно, мой муж в настоящее время – посланник при здешнем дворе. Однако он будет беспокоиться, и мне не следует дольше задерживаться. Еще раз благодарю вас! – и молодая женщина, слегка кивнув головой Роянову, пошла по дороге, ведущей вниз.

Гартмут стоял не двигаясь и смотрел ей вслед; его лицо было покрыто зеленоватой бледностью. Значит, все-таки... Не успел он ступить на немецкую землю, как тут же услышал знакомое имя и вспомнил давние отношения, которые были ему по меньшей мере неприятны.

Герберт фон Вальмоден, брат Регины фон Эшенгаген, опекун Виллибальда и друг юности... Роянов резко оборвал ход своих мыслей, потому что в его сердце будто вонзилась острая игла. Как будто отталкивая от себя что-то, он выпрямился, и на его губах появилась сардоническая улыбка.

– Дядюшка Вальмоден сделал прекрасный выбор, – пробормотал он почти вслух. – Видно, ему вообще везет. У него уже давно должны быть седые волосы, а он еще обзавелся молодой и красивой женой. Правда, посланник в любом случае – партия, а Адельгейда фон Вальмоден рождена для того, чтобы быть ее превосходительством. Так вот откуда это холодное аристократическое высокомерие, которое не удостоивает снисходить до простых смертных! Очевидно, она прошла дипломатическую школу у своего почтенного супруга, который выдрессировал свою избранницу сообразно ее высокому положению. Он достиг превосходных результатов! – Его глаза все еще следили за молодой женщиной, уже спустившейся с холма, и между бровями появилась глубокая морщина. – Если я где-нибудь встречу с Вальмодемом, то он наверняка узнает меня. Если он скажет ей правду, если она узнает, что было, и опять посмотрит на меня так презрительно... – В порыве ярости он топнул ногой и горько расхохотался. – Ах, что мне за дело до этого! Что может знать эта белокурая, голубоглазая порода людей с ленивой, холодной кровью о пылком стремлении к свободе, о бурях страстей, о жизни вообще? Пусть ломают шпагу над моей головой! Я не боюсь этой встречи и сумею выдержать ее!

И, гордым, упрямым движением закинув голову назад, Гартмут отвернулся от тонкой женской фигуры, все еще видневшейся на проезжей дороге, и пошел назад в лес.

8

Семейное торжество, ради которого и приехал Вальмоден с женой, а именно обручение владельца Бургсдорфа с Антонией фон Шонау, было отпраздновано в доме главного лесничего по обычной программе.

Молодые люди давно знали, что родители предназначают их друг для друга, и были совершенно согласны с их планом. Как примерный сын, Виллибальд все еще придерживался мнения, что выбор его будущей подруги жизни касается только его матери, и терпеливо ждал, когда она найдет нужным обручить его; но все-таки ему было очень приятно, что он должен жениться именно на двоюродной сестре. Он знал ее с детства, они вполне сходились во вкусах, и, что главное, она не ждала от помолвки никакой романтичности. При всем своем желании Вилли не смог бы выполнить такое требование, если бы ей вздумалось заявить о нем. Со своей стороны Тони проявила благоразумие, на которое надеялась ее тетка; кроме того, Вилли очень понравился ей, а перспектива стать хозяйкой громадного Бургсдорфа нравилась ей еще больше. Словом, все было как нельзя более благополучно.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.